

Основан
в 1967 году
Выходит
6 раз в год
Издательство
"Наука"
Москва

Научно-популярный журнал
Института русского языка
Академии наук СССР

Русская 4 речь

1988 ИЮЛЬ · АВГУСТ

В ПОМЕРЕ:

3 *Л. И. Скворцов.* Культура языка и экология слова. I.

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

К 160-летию со дня рождения Л. Н. Толстого

11 *Л. Д. Опульская.* Точность авторского слова

16 *Э. Г. Бабаев.* Упрямый пасьянс

20 *В. И. Новиков.* «Мы вовлекаем прозу в поэзию...»
(Л. Толстой и Б. Пастернак)

27 *В. Э. Вацууро.* Из записок филолога

31 *Л. В. Зубова.* «Черный, черный оку — зелен...»

37 *А. А. Колганова.* Как построен псевдоним

СЛОВО В ДРАМАТУРГИИ

44 *Л. И. Стрельцова.* Ружье или телефон? (О символике пьесы «Утиная охота» А. Вампилова)

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Из наследия Андрея Платонова

КУЛЬТУРА РЕЧИ

60 *С. Н. Борунова.* По страницам «Орфоэпического словаря»

66 *О. Л. Дмитриева.* От «Дамского журнала» к «Женскому календарю»

70 *Н. И.ormanовская.* Беседы о речевом этикете

74 Из Нормативно-стилистического словаря русского языка

ОТВЕЧАЕТ СЛУЖБА ЯЗЫКА

76 *И. А. Елисева.* Наверно — наверное — наверняка

СПОРНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ

78 *Д. Э. Розенталь.* Еще раз: Дон-Жуан или Дон Жуан?

- ТЕРМИНОЛОГИЯ**
- 81 *И. Н. Волкова.* Как образовать краткую форму термина
-
- СРЕДИ КНИГ**
- 84 *З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь.* Лингвистические словари и работа с ними в школе
- 85 *Словарь русского словообразования*
-
- ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ**
- К 1000-летию введения христианства на Руси*
- 88 *Е. М. Верещагин, В. П. Вомперский.* И стала Киевская Русь «ведома и слышима всеми...»
- 95 *В. В. Бычков.* Словесность в оценке древнерусских книжников
- 101 *В. А. Кучкин.* Поротва или Поротля?
- 107 Из «Этнолингвистического словаря славянских древностей»
-
- СЛОВО МОЛОДОМУ ЛИНГВИСТУ**
- 111 *О. М. Аңисимова.* «То си хотя молви»
- 114 *Л. Ф. Фролова.* «Помчаша красныя девки половецкыя...»
-
- НА КАРТЕ РОДИНЫ**
- Заметки краеведа*
- 120 *В. В. Цоффка.* Ближнее Подмосковье: Немчиновка
-
- ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА**
- 123 *П. Ф. Лебедев.* Пословица не клинок, а колет в бок
-
- ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ**
- 127 *И. Г. Добродомов.* Этика и этикет
- 130 *А. В. Барандеев.* Что такое ерик?
- 133 *Н. Н. Болдина.* «Еще идут старинные часы...»
- 136 *А. Л. Топорков.* Воробьиная ночь
- 140 *Р. М. Кирсанова.* Турнюра, турню
-
- ОНОМАСТИКА**
- 143 Личные имена у народов мира
-
- ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ**
- 149 *И. И. Степанченко.* Причастия и прилагательные с -н- -ни-
-
- ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»**
- 155 С поклоном к традициям предков
- 156 Почему говорят: завтрак, обед, ужин?
- 158 Кто такие интергельповцы?

На обложке рисунок Б. Захарова

© Издательство «Наука», Русская речь, 1988 г.

Культура языка и экология слова

I

Л. И. Скворцов,
доктор филологических наук

Как вы поймете без любви
Всю прелесть русской речи?

И. Сельвинский

В последнее время вопросы развития языка, проблемы культуры русской речи начинают рассматриваться в плане лингвистической экологии. И это вполне понятно. Язык любого народа — аккумулятор его культуры, он закрепляет историческую память слова, и культура языка предстает как накопление этой памяти, как неразрывная духовная связь поколений. В наши дни культура языка встает в контекст экологии культуры как ее важнейшая часть.

Заботой об очищении русского языка от засоряющих его просторечных, жаргонных и заимствованных слов проникнуты возникающие в периодической печати дискуссии о состоянии современного словоупотребления. Показателен в этом отношении обзор читательских писем в газете «Советская Россия» (1988. 1 марта) под характерным заголовком — «Экология слова». В этом обзоре цитируется письмо члена-корр. АМН СССР В. Шапота (Москва), который с горечью пишет о том, что «русский язык пока не воспринимается нами как национальное сокровище, а его надо спасать, как это уже делается в отношении памятников старины, культуры, искусства».

О трудном положении, которое переживает устное сценическое слово, пишет в журнале «Работница» (1988. № 2) народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда Е. Н. Гоголева: «С сожалением должна сказать, что даже в нашем театре [речь идет о Малом театре] сегодня чувствуется утрата речевой традиции. А это следствие того, что перестали любить само слово, интересоваться его богатейшими возможностями. Исчезает любопытство, уважение к нему. Я думаю, мы, люди старшего поколения, должны постараться вернуть утраченную красоту русской

речи, увлечь молодых любовью к словесности. Может, тогда мы сумеем победить равнодушие к родному слову».

Экологии языка (в плане бережного отношения к новым словам) посвящено стихотворение Е. Винокурова «Язык» (Литературная Россия. 1987. 9 окт.):

И с каждым днем
сильнее ценим все мы
покой лесов и чистоту воды,
в кругу экологической проблемы,
охраны окружающей среды...
И наш язык.
Он часть большой природы!..
Не потому ли новые слова,
как те птенцы,
худы и желтороты,
что из яйца проклюнулись едва?..
Пускай живут!..
Потом лишь будет ясно —
сейчас же непонятно, хоть убей!—
кто это будет:
мощнокрылый ястреб
или уютный серый
воробей.

Сам термин *экология* был предложен в 1866 году немецким зоологом Э. Геккелем, который определил экологию как общую науку об отношениях организмов к окружающей среде, куда он относил в широком смысле все «условия существования». Современная экология интенсивно изучает проблемы взаимодействия человека и биосферы; она получила распространение на социальные сферы: сформировались *экологическая экономика* и *экологическая этика*, появились *экология человека*, *экология культуры*, *экология языка*. «Экологический подход,— отмечает современный исследователь,— это подход социальный. Предметом экологического анализа являются различные социальные организмы в их взаимодействии с природой и социальной средой» (Яницкий О. Н. Экологическая перспектива города. М., 1987). Экология культуры предполагает борьбу с бездуховностью (А. Вознесенский, Анар), сохранение культурной среды (Д. С. Лихачев), она рассматривается как сохранение генетического кода нашей исторической памяти (В. Л. Янин).

Лингвоэкологический подход означает бережное отношение к литературному языку одновременно как к культуре и как к орудиям культуры. Говоря о сохранении «стилистической перспектив» литературного языка, академик Л. В. Щерба в статье «Литературный язык и пути его развития» (1942) отмечал: «...всякое неуместное со стилистической точки зрения употребле-

ние слов разрушает стилистическую структуру языка, а язык с разрушенной стилистической структурой то же, что совершенно расстроенный музыкальный инструмент, с той только разницей, что инструмент можно немедленно настроить, а стилистическая структура языка создается веками.

В литературном языке закрепляется историческая память народа и формируется его историческое сознание. А историческое сознание, по определению критика Ю. Селезнева, — «это осознание прошлого пропорционально будущему» (Селезнев Ю. Златая цепь. М., 1985). Известная нормативная стабилизация и неминуемо связанная с ней некоторая «нивелировка» литературного языка (особенно в жанрах массовой коммуникации) вызывают живой и пристальный интерес к самобытному народному слову. Говоря о подготовке новых словарей русских народных говоров в наши дни, писатель Валентин Распутин в статье «Из вечного родника» (Советская культура. 1985. 20 июля) отмечает: «В нас не одна только ностальгия по отговорившему живет, когда мы читаем и изучаем эти словари, — к нам вместе с родным языком является чувство обретенности и глубины. Слово бы онемевшие связи восстанавливаются от живой воды и добавляются к действующим. Слово из дальних скитаний возвращаешься домой, и этим словом тебе указывают дорогу...». «Пока жив язык — жива и нация», — заключает свои размышления писатель.

К актуальным вопросам лингвистической экологии относится оценка иноязычных заимствований. В рассуждениях на эту тему немало вкусовщины и антиисторичности. В самом деле, нельзя полагать, что все заимствования в принципе засоряют наш язык и делают его непонятным или неправильным. Полезные и оправданные заимствования нужны любому языку — для развития, обогащения и пополнения извне, а не только за счет внутренних ресурсов.

Интернационализация языка науки и техники, использование иноязычных приставок и суффиксов — естественный путь развития «важнейшего средства человеческого общения». Но не будем закрывать глаза и на факты засорения языка — при бездумном или намеренном, неуемном обращении к иноязычной лексике. Крайности везде плохи. Зачем говорить *спонтанный* вместо *случайный* или *непреднамеренный*? *Релятивный* — вместо *относительный*, *дискурсивный* — вместо *рассудительный* или *релаксация* вместо *ослабление*?

Не надо быть ура-оптимистами и полагать безоговорочно, что, мол, «русский язык сам собою правит», а значит, все выправит

и преодолет. Но не будем впадать и в другую крайность и с пессимистическим отчаянием призывать: «Спасите великана!» и угрожать великому языку великими бедами. Конечно, язык развивается по своим законам. Но это не значит, что все изменения в нем происходят стихийно и никак не подчиняются воле говорящих на нем людей. Каждый из нас — а писатель, журналист и редактор в особенности! — должен на деле доказать, что он любит и ценит свой русский природный язык, верит в его выразительные и смысловые возможности, внутренние творческие силы.

Известно, что в эпоху НТР заимствования из других языков — важное средство пополнения словаря, источник усвоения новых понятий и терминов. Однако из этого вовсе не следует, что современный русский литературный язык не нуждается в защите от желания некоторых говорящих и пишущих пестрить свою речь иноязычными словами — в тех случаях, когда легко можно обойтись исконной русской лексикой или давними заимствованиями. И поэтому актуально звучит сейчас (и останется таковым впредь) завет Владимира Ильича Ленина «объявить войну употреблению иностранных слов без надобности» (Полн. собр. соч. Т. 40. С. 49).

При всей исторической терпимости, снисходительности русского литературного языка к «чужим словам», при всей его так хорошо подмеченной А. С. Пушкиным «переимчивости и общежительности» в отношениях с другими языками, можно и должно, на наш взгляд, кое в чем и сократить поток иноязычных заимствований в наши дни, в первую очередь — в общелитературном употреблении и в обиходно-разговорной речи.

Перестройка экономической и социальной жизни страны — это не общий переворот, не простой отказ от всего накопленного ранее. В области культурного строительства — это подчас восстановление забытого, возвращение к подлинной научности и историчности. В условиях всеобщей и глубокой перестройки не язык надо «перестраивать», а наше отношение к нему. Возродить уважение к самоценному, доброму, честному, яркому и правдивому слову, неразрывно связанному с делом и помогающему делу. Укрепить доверие к самой языковедческой науке, к знаниям и компетентности специалистов-языковедов. Время перестройки требует профессионального подхода к любой сфере деятельности, глубоких знаний от ее участников и творцов. Никому ведь не придет в голову «упростить», например, математику или физику. А вот идеи «упрощения», «рационализации» языка и его волевого реформирования проявляются с какой-то непостижимой регу-

лярностью, иногда становясь чуть ли не символом решительных обновлений. Ясно, что сторонники такого упрощения исходят (по старинке!) из сиюминутных нужд и требований и вовсе не задумываются о том, что «облегчить» язык нельзя без ущерба для него, а в принципе и без полного его «расстройства».

В своем пространном письме, озаглавленном «Зачем мы так говорим?», читатель А. Я. Цылев из Орла настоятельно и остро ставит вопрос о реформировании русского языка, его рациональном упрощении, логическом совершенствовании. Он пишет о том, что с позиций логики и здравого смысла нельзя, например, объяснить «разнобой» таких конструкций, как *в цвете* и *в цвету*, *в лесе* и *в лесу*, *на берегу* и *на берегу*, *с мира* и *с миру* и т. п., а потому лучше было бы их как-то «уединообразить».

Между тем этот видимый разнобой имеет свои чисто исторические объяснения. И не следует в таких примерах видеть только «логическую непоследовательность» языка, его «слабость» или даже «искажение» и «неправильность».

Особенности употребления и стилистические отношения вариантов на *-а* и на *-у* в родительном падеже единственного числа верно определил уже М. В. Ломоносов. В своей «Российской грамматике» (1755) он рекомендовал для книжных (славянских), отвлеченных значений слов — формы на *-а*, для разговорных же и собирательных, разделяющихся по числу и весу, месту и времени, — формы на *-у*. Например: *размаха* и *размаху*, *возраста* и *возрасту*, *взгляда* и *взгляду* и т. п., но только или по преимуществу: *бархату*, *бисеру*, *квасу*, *полку*, *берегу*, *верху*, *лугу* и т. п.

В статье «Библиотека для чтения» В. Г. Белинский, возражая критикам Н. В. Гоголя по поводу мнимых «неправильностей» в его произведениях, говорил, что нет строгого правила для употребления падежных окончаний на *-а* и *-у*, но «это слышит ухо природного русского, слышит — и никогда не обманывается. Всякий русский скажет, как у Гоголя: „Волос, вылезший *из носу*“, и ни один русский не скажет: „Волос, вылезший *из носа*“», Высмеивая барона Брамбеуса (О. И. Сенковского), любившего формы на *-у*, В. Г. Белинский нарочито в спорах с ним употреблял в изобилии невероятные — *восторгу*, *размеру*, *рецензенту* и т. п.

Сходна судьба и у конструкций с предлогами *в* и *на*. «Логика», к которой призывает нас А. Я. Цылев, тут также бессильна. Отношения между вариантами часто грамматические (формальные) и не связаны со «смыслами» предлогов: как если бы *в* употреблялось только для обозначения внутреннего пространства,

помещения, а *на* — для обозначения чего-либо находящегося снаружи или наверху.

В XIX веке можно было сказать, например, и *в маскараде* и *на маскараде*, *в кухне* и *на кухне*, *ехать в концерт* и *ехать на концерт*, *играть в театре* и *играть на театре* и т. п. Правда, профессиональные актеры предпочитали в последнем случае предлог *на*: *на театре*, а не «в театре» (как *на сцене*). И в профессиональной речи моряков сохранилась до сих пор эта конструкция с «пространственным» *на*. В «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского есть такой диалог женщины-комиссара и командира корабля: «Комиссар: Вы давно *во флоте*? Командир [несколько вызываяще]: *На флоте* у нас говорят; „на флоте“ — двадцать лет»...

Как же можно возразить «рационализаторам» языка? Чем их переубедить? Будучи явлением социально-историческим, язык не поддается насильственной «логизации» и технологической «рационализации». Такова его объективная природа; по самой сути своей он чужд решительных и непродуманных вмешательств в его структуру. Как явление культуры он требует к себе и соответствующего подхода: освоения, понимания и принятия, а не логического «подравнивания» или субъективно понимаемого «упрощения», при котором простота неминуемо приводит к обеднению.

Правда, есть и другая крайность. Для доктора биологических наук Б. Ф. Бельшева из Новосибирска орфографические нормы, например, это — «тормоз к ускорению технического прогресса» (он так и назвал свое письмо). Логика его рассуждений внешне проста: «Кому надо, чтобы ученый, врач или инженер обладали абсолютной грамотностью? Разве хуже будет анамнез врача, отчетная записка инженера или научная статья ученого, если в тексте будут нарушения орфографических правил, будет несколько грамматических ошибок? Я как научный сотрудник отвечаю за научные данные в своей области, а редактор, то есть специалист по русскому языку, отвечает за грамотность. Итак, каждому свое!.. Пора понять, что в обычных делах язык не самоцель, а только пособие при общении».

Такая вот точка зрения. Что о ней сказать? Ну, прежде всего, что язык — вовсе не «пособие», а важнейшее средство общения людей, орудие мысли и практическое наше сознание. Даже «в обычных делах» ... И заметьте: крайности сходятся! И А. Я. Цылев и Б. Ф. Бельшев стоят на позициях научного нигилизма, отрицая роль знаний в вопросах языка: один с точки

зрения «логизации» и «упрощения», а другой — с точки зрения удобства пользования, то есть той же простоты.

Но ведь задача и роль литературно обработанного языка и состоит в том, чтобы быть общим для всех говорящих на данном языке, единым (наддиалектным). Литературный язык нужен для единства нации, единства ее культуры. Цель орфографических правил — установить единообразие в передаче звучащей речи на письме. Отсюда и устойчивость орфографии как главная ее черта и главное требование к ней (требование, как видим, экологического толка!). И ведь недаром А. С. Пушкин называл орфографию «геральдикой языка», то есть родословным древом, запечатлевающим традицию.

Писать неграмотно или полуграмотно — значит посягать на время других людей, к которым мы обращаемся (часто вовсе без помощи каких бы то ни было редакторов). Разгадывание индивидуальных написаний-ребусов, приведение их к системе общепринятых норм замедляет наше общение. И значит, не орфография, не правила письма, а, напротив, их отсутствие или негативное отношение к ним, орфографическая малограмотность — подлинный тормоз научно-технического прогресса.

Можно, конечно, и не обладать абсолютной грамотностью, но быть при этом хорошим специалистом в своем деле. Речь идет совсем о другом: необходимый уровень орфографической культуры должен быть у каждого образованного человека. Это нужно для обслуживания социального общения, для точного и умелого, а значит, и действительного владения языком. Сторонникам решительного «упрощения» орфографии надо иметь в виду возможные нежелательные последствия. Ведь все эти «упрощения» могут обернуться затрудненностью чтения, восприятия, понимания текстов, то есть реальным замедлением в получении содержательной, полезной информации.

Как бы предвидя сегодняшних «рационализаторов» в области письма, академик Л. В. Щерба писал в 1927 году о том, что орфографические реформы не делают орфографию легкой, «ибо орфография языка, употребляемого... сотнями миллионов людей, по самому существу вещей не может быть абсолютно легкой...» (статья «Безграмотность и ее причины»). Это связано с территориальными (диалектными) различиями, возрастными привычками говорящих и пишущих, влиянием системы родного языка в условиях национально-русского двуязычия и многоязычия. Как и в других областях культуры, в языковой (языковедной) сфере нужны реальные знания, необходимо овладение ими — независимо от действительных или кажущихся трудностей.

Выступая на общем собрании Московской писательской организации (в январе 1988 г.), критик Ал. Михайлов, в частности, сказал: «Сегодня, может быть, главной нашей заботой становится забота о языке литературы, о сохранении и развитии нашего духовного богатства. Я бы сказал так: язык — основной фонд русской культуры. Он дороже, чем золотой запас, хотя А. Т. Твардовский оценивал слово „по курсу твердого рубля“. Это, конечно, метафора. Для языка не существует и не может существовать никакого обменного фонда, он един и незаменим, в нем жизнь духа и исторический опыт народа» (Литературная Россия. 1988. № 4). Он сослался при этом на стихотворение В. Шефнера, опубликованное в «Литературной газете» и имеющее самое прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору об экологии слова:

Гаснет устная словесность,
Разговорная краса;
Отступают в неизвестность
Речи русской чудеса.

Сотни слов родных и метких,
Сникнув, голос потеряв,
Взаперти, как птицы в клетках,
Дремлют в толстых словарях.

Ты их выпусти оттуда,
В быт обыденный верни,
Чтобы речь — людское чудо —
Не скудела в наши дни.

Язык запечатлевает историю народа. В известном смысле язык — эта сама культура, процесс и результат ее накопления и обновления. Можно, конечно, отказаться от национальных языков и перейти директивным путем, скажем, на эсперанто. Тем самым решить — одним махом — все проблемы: исторические, национальные, культурные, педагогические... Но ведь никто не пойдет на отрыв от национальных и культурных корней, на отказ от своих истоков, от своей «среды обитания». Значит, в эпоху перестройки возрастает многократно ответственность ученых, писателей, педагогов, всех патриотов за будущее родного языка, за судьбы национальной культуры.

Окончание следует

К 160-летию со дня рождения Л. Н. Толстого



ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ
ТЕКСТОЛОГА

Точность авторского слова

Л. Д. Опульская,
доктор филологических наук

1828—1988



огда готовилось авторское отдельное издание романа «Анна Каренина», Толстому помогал Н. Н. Страхов. Осталось страховское пояснение относительно этой работы: «По поводу моих поправок, касавшихся почти только языка, я заметил еще особенность, которая хотя не была для меня неожиданностью, но выступала очень ярко. Лев Николаевич твердо отстаивал малейшее свое выражение и не соглашался на самые, по-видимому, невинные перемены. Из его объяснений я убедился, что он необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на всю кажущуюся небрежность и неровность его слога, он обдумывает каждое свое слово, каждый оборот речи не хуже самого щепетильного стихотворца» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1939. Т. 20. С. 643).

Современные ученые (В. В. Виноградов, А. В. Чичерин) убедительно пояснили, какую важную смысловую и поэтическую роль играют у Толстого пространные периоды, иноязычные вкрапления, просторечные слова и т. п. Практической работой тексто-

лога Н. К. Гудзий доказал, как много значат в речевом строе «Власти тьмы», например, характерные народные слова и выражения и как обеднили, исказили язык гениальной драмы переписчики и наборщики, когда, не разбирая автографов, заменяли эти слова и выражения привычными, «литературными». Чтобы иметь вполне верное представление о языке, стиле писателя, непременно нужны точные, научно выверенные тексты его творений. Иначе ошибочные, приблизительные суждения и оценки неизбежны. Задача текстолога — восстановить в подлинном, авторском виде не только смысл, но и стиль, слог, язык.

В этой статье речь пойдет о двух примерах, связанных с проверкой по рукописям печатного текста повести «Казачья» и трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» (книги выходили в издательстве «Наука» в серии «Литературные памятники» соответственно в 1963 и в 1978 гг.). Всякий раз приходилось убеждаться, как важно знать точное, неискаженное авторское слово.

В конце главы IX «Казачья» Лукашка говорит другу Назарке: «Уж когда же гулять-то, что не *нынче*» (здесь и далее курсив наш. — Л. О.). Но так было лишь в автографе Толстого; в печатном тексте (Русский вестник. 1863. № 1) читается ошибочное и неуместное *ныне*, которое повторялось в изданиях в течение ста лет, пока поправка не была внесена нами по авторской рукописи.

Точно так же только теперь в главе XI восстановлено авторское в речи Ерошки: «А по-моему, *хоть* ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь» (в печатном тексте — литературное *хоть*).

В главе XIII разговаривают о Лукашке:

«Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы расцрашивали.

— А награда, я чай, большая ему будет? — говорила казачка.

— А то как же? Бают, крест *выйдет*».

Это точное в стилевом контексте *выйдет* преобразилось при публикации повести в ошибочное *вышлют*.

Солдатское характерное приветствие «Здравия желаем, ваше *бродие*», точно обозначенное в автографе Толстого, печаталось иначе: *благородие*. Так исчезали характерные «неправильности», которые, как известно, Толстой высоко ценил в речи персонажей.

Здесь, в строе и стиле прямой речи, для художника не бывает мелочей. Лукашка, например, в главе IX рассказывает про плывущего на карче (каряге) абрека:

«Глядь, а *из-под* ней голова показывается». Так он говорит; появившееся в печати *из-под* нее искажает текст, авторский стиль.

Персонаж произносит «Дмитрий *Андреич*», «Илья *Васильич*»

(так в автографе Толстого), и корректорская поправка на *Андре-евич, Васильевич* — в сущности, ошибка.

Сотник спрашивает Лукашку: «Ты грамотный?» (гл. XXI), Это не описка Толстого, а сознательно употребленный оборот. Появившееся в печатном тексте книжное: «Ты грамотен?» — пришлось исправить по автографу.

Ерошка говорит *али* вместо *или*, и это *али* — характерный, необходимый признак.

В разговорной речи принято опускать *что* в придаточных предложениях.

«— Говорят, в набег скоро.

— Не слышал, а слышал — Криновицыну за набег-то Анна вышла» (гл. XXIV).

Переписчик, полагая, видно, что он грамотнее Толстого, написал в копии:

«— Говорят, *что* в набег скоро.

— Не слышал, а слышал, *что* Криновицыну <...>»

Обязанность текстолога — восстановить подлинные авторские выражения, устранить ошибки, внесенные, сознательно или бессознательно, посторонними лицами.

И, конечно, не только в речи персонажей, но и в авторском, повествовательном тексте. Толстому привычно было сказать: «Скоро приехали *верхами* сотник и станичный со свитою двух казаков» (гл. XXI). Много людей — значит именно *верхами*; один всадник — *верхом*. Но в печати фраза оказалась искаженной: «приехали *верхом*».

Большому художнику всегда свойственно чувство меры. Особенности языковые черты он кладет не густою краскою, а так, чтобы соблюсти пропорции красоты языка и его общелитературного строя. Устенка, например, говорит Марьяне:

«Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, я чай <...> А все, чай, по тебе скучает» (гл. XXX).

Вот так, на пространстве трех строк, и *чай* и *чай* в одном и том же значении, в одном стилизовом ключе. Художественная речь — не фотографическая копия «живой» речи, а ее языковой, литературный портрет. Корректор, видимо, заметил «несогласованность» и в первой фразе тоже сделал *чай*. Текстолог возвращает фразу к автографическому, толстовскому написанию.

Посылая рукопись в «Русский вестник», Толстой предупредил редактора, что «ошибок переписчика бездна», и просил обратить на них внимание корректора. Однако корректор, конечно, не смог обнаружить действительных ошибок, и дело ограничилось унификацией грамматики, приведенной в соответствие с норма-

ми того времени и с практикой журнала. В частности, все существительные среднего рода (*теченье, колыханье, желанье, стремление, образование* и т. п.), которые Толстой почти всегда писал через мягкий знак, были унифицированы в сторону книжного варианта. Такие написания Толстого, как *противузаконно, противоположный, ежели, достигнул, покойно, взбежал*, также были изменены на *противозаконно, противоположный, если, достиг, спокойно, вбежал*; слова *мужеска, женска* (родительный падеж краткого прилагательного) — на *мужеского, женского*. Окончания прилагательных в творительном падеже *ой, ей* заменены формой на *ою, ею*. Поскольку не все рукописи сохранились (в частности, не дошли до нас наборная рукопись и корректуры), нет возможности восстановить полностью авторскую грамматику и синтаксис, а всякое выборочное их исправление на основе сохранившихся рукописей внесло бы ненужную путаницу.

Исследователю языка, стиля Толстого нужно доподлинно знать не только печатные тексты, но и все рукописи.

Иногда ошибка копииста или неразобранное им слово вызвали новую правку Толстого. Созданные автором позднейшие варианты, конечно, никак нельзя отвергать в пользу первоначальных. В речи хорунжего, например (гл. XVIII) слова *от постою* («от постою можем всегда удалиться») были разобраны переписчиком как *постепенно*. Толстой не исправил ошибки, а заменил *удалиться* словом *страктоваться*, и в печатный текст входит вариант: «постепенно можем всегда страктоваться».

В описании охоты Оленина (гл. XX) говорилось, что мириады насекомых шли «<...> к этой темной густой зелени». Переписчик вместо *густой* написал *пустой*, автор просто вычеркнул это слово. В другом месте (гл. XXIX) Толстой написал: «Марьяна <...> легла под арбой на примятую вянущую траву». Копиист не разобрал слова *вянущую*, оставил пустое место, автор же (не справляясь, конечно, с прежней рукописью) заполнил пропуск другим словом: *сочную*. И мы вынуждены принять эту *сочную*, даже если бы и считали, что *вянущую* больше в данном случае подходит.

В главе XXXIV бабука Улита приглашала Оленина гулять на свадьбе и спрашивала: «Ты не уйдешь в поход?» Копиист не разобрал и написал: «Ты... и... погоди». В творческом сознании Толстого этот бессмысленный набор слов превратился в такой текст: «Ты уходить-то погоди», который читается и в окончательном тексте повести.

В другом месте переписчик не разобрал слово *росистого* («Запах кизяка и росистого тумана был разлит в воздухе») и оставил пропуск, который Толстой заполнил словом *чапры* (чап-

ра — виноградный сок). В той же XXXVIII главе во фразе: «Схватившись рука с рукой, девки кружатся, не в такт песни выступая по пыльной площади», переписчик не понял слов *не в такт песни*, опять оставил пустое место, а Толстой вписал здесь совсем другое: *плавно*. Дальше, в разговоре Марьяны с Лукашкой, было: «Захотела, разлюбила. Ты мне не отец. Легко ли». Копиист не разобрал это характерное «Легко ли», а Толстой заполнил пропуск иначе: «Ты мне не отец, не мать».

Последняя творческая воля автора в этих случаях, конечно, важнее, чем наши соображения о предпочтительности первоначального варианта.

Текстологу всегда приходится помнить об истории языка. Иначе неизбежны ошибки. Такие, например, какие случились в 90-томном издании с повестью «Юность», где без всяких ссылок на первоисточник, просто по соображениям здравого смысла, толстовские выражения заменялись на привычные, современные.

У Толстого в «Юности»: «В таких разговорах мы и не заметили, как подъезжали к Кунцеву,— не заметили и того, что небо *заволокало* и собирался дождик (гл. XXII). Текстолог решил, что это опечатка, и заменил: «заволокло». Но форма несовершенного вида *заволокать* (совр. *заволакивать*) существовала во времена Толстого и в литературном, и в разговорном языке (отмечена в Словаре В. И. Даля). Точно так же толстовский оборот «увлажненные росой» обязан остаться в тексте. Мы теперь сказали бы: «увлажненные росой». Но в те времена было два глагола: *увлажжать* и *увлажнять* и соответственно два причастия.

Печатаая трилогию в серии «Литературные памятники», мы восстановили авторские написания.

Проверка же печатного текста по рукописям позволила в нескольких случаях устранить ошибки всех предшествующих публикаций.

Недостаток в произношении отца Николеньки Иртеньева, о котором идет речь в главе X «Детства»,— конечно, *пришепенывание* (так в автографе Толстого), а не *пришептывание*, как печаталось с 1852 по 1978 год. Одна буква, но совершенно разные слова! На бабушке (в главе XXI), конечно, *мангилия* (так в рукописи), а не *мантия*.

В рассказе Натальи Савишны о детстве маменьки: «Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала и она меня Нашей называла» (гл. XXVIII) важно это «Нашей» (не «Наташей»), подтвержденное окружающим контекстом.

Точно так же в «Отрочестве» лишь в автографе нашлись подлинно авторские слова: «до состояния, близкого сумасшествию»

вместо бессмысленного: «до состояния близкого сумасшествия», а в «Юности» удалось исправить нелепые «два горшка герания» на «два горшка гераней».

Толстой издается и переиздается в нашей стране миллионными тиражами. 90-томное Полное собрание сочинений, вышедшее в 1928—1958 годах,— настолько значительно и монументально, что мы продолжаем гордиться им. И все же отечественная текстология не исполнила вполне свой долг. Тексты многих сочинений величайшего мирового писателя остаются невыверенными, рукописи изданы неполно и бессистемно. Именно эти задачи поставлены как главные в новом (вероятно, 100-томном), подлинно академическом издании, работа над которым начинается сейчас.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПИСАТЕЛЯ

Упрямый пасьянс

Э. Г. Бабаев,
кандидат филологических наук

I



Льва Николаевича Толстого было такое обыкновенное — раскладывать пасьянс, если возникало слишком большое затруднение в работе. Как будто пасьянс помогал ему сосредоточиться или найти новый поворот сюжета, обдумать изменение в композиции.

Художник А. В. Моравов, писавший портрет Толстого в интерьере его яснополянского кабинета, однажды видел своими глазами, как «напряженную работу», продолжая ее, сменил «порывистый пасьянс» (Ростовцева И. Т. Воспоминания А. В. Моравова о пребывании в Ясной Поляне и работе над портретом Льва Николаевича Толстого.— В кн.: Очерки по русскому и советскому искусству. М., 1965. С. 105—106).

Известно, что Толстой по многу раз переделывал свои рукописи, пока продолжалась работа над тем или иным произведением. Его страсть к исправлениям вошла в литературные предания. Готовить рукописи к печати ему помогала его жена Софья Андреевна Толстая. Она говорила о себе: «Я вот этими пальцами одну только „Войну и мир“ семь раз переписала» (Серебров Александр. Время и люди. Воспоминания (1898—1905). М., 1955. С. 239),

Действительно, некоторые главы удавались сразу, но другие Толстой переделывал по семь и даже по десять раз. Переделки продолжались и в корректурах, которые подвергались столь же решительной правке, как черновики. «Добывайте золото просеиванием», — говорил Толстой (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1953. Т. 61. С. 229; далее — только том и стр.).

Но то, что однажды было завершено, окончено и напечатано, Толстой уже не изменял никогда — ни слова, ни знака. Это был неукоснительно соблюдаемый им закон творчества, которому он был верен всю жизнь.

II

Известный критик и философ Н. Н. Страхов имел возможность воочию убедиться в том, как Толстой дорожил своим словом и каждой, даже малейшей особенностью своего стиля. Чувствуя доверие со стороны Толстого, Страхов начал было вносить в рукопись романа «Анна Каренина» некоторые, казавшиеся ему необходимыми, стилистические поправки. Но Толстой воспротивился этой дружеской правке и вернул на место все то, что было исправлено Страховым.

Эта неуступчивость, которая свидетельствовала о том, какое значение Толстой придавал слову, восхищала Страхова.

Таким Толстой был на протяжении всей своей жизни. И в самом начале пути, отдавая Н. А. Некрасову рукопись своего первого произведения, — «Детство», он просил напечатать эту повесть «без прибавлений и перемен» (59, 193).

Повесть была напечатана в журнале «Современник» под редакционным названием «История моего детства». И Толстой был недоволен. В сердитом письме в редакцию он писал: «Заглавие *Детство* и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же *История моего детства* противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории моего детства» (59, 214). И Толстой восстановил то название, которое имела его повесть в первоначальном виде: не «История моего детства», а именно «Детство», как одна из «четырёх эпох развития» человека, ведь именно так она и была задумана и написана автором.

III

Толстой чувствовал, что во время работы происходит странный процесс «отчуждения» материала так, что наконец он становится неподвластным и самому автору. Возникает то особое достоинство художественности, которое можно было бы назвать неприкосновенностью текста,

Лучше всего эту замечательную особенность творчества выразил Пушкин, сказавший в одном из писем к П. А. Вяземскому: «Я никогда не мог поправить раз мною написанное» (Пушкин-критик. М., 1950. С. 41).

И все же однажды Толстой не удержался от искушения исправить самого себя. Но при этом доказал «от противного» силу и значимость пушкинского закона творчества, «не допускающего перемены».

В 1868—1869 гг. вышло в свет первое издание «Войны и мира». Книга завоевала всеобщее признание. Но некоторые критики, в том числе и Страхов, настойчиво советовали Толстому отделить в «Войне и мире» «хронику», то есть самый роман, от философских и исторических «отступлений».

«Что же касается до философии гр. Л. Н. Толстого,— утверждал Страхов,— то, когда мы привыкнем рассматривать ее отдельно от хроники,— и она обнаружит те неотъемлемые достоинства, которые теперь теряются в слишком блестящем соседстве хроники» (Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 336).

Казалось, что сделать это очень легко. Нужно лишь терпение, клей и ножницы. И вот летом 1873 года, во время поездки в Самарские стены на отдых, Толстой «исправил» «Войну и мир», «разделил» книгу «надвое». Но его книга, именно как органическое целое, воспротивилась такому механическому делению.

Вариант 1873 года был неполным, искаженным, дисгармоничным. Первой это заметила Софья Андреевна Толстая. Недаром она «семь раз» переписывала «Войну и мир». Она сделала все, чтобы возратить книге ее первоначальную красоту. И Толстой не мешал ей защищать от него эту книгу.

Он и сам предвидел заранее, что его опыт с «Войной и миром» окажется неудачным. Еще в набросках предисловия к изданию 1868—1869 гг. он говорил: «В оправдание могу сказать еще то, что, если бы не было этих рассуждений, не было бы и описаний» (15, 241).

Тут речь шла о некоторых общих законах искусства и творчества. В трактате «Что такое искусство?», написанном в 90-е годы, Толстой отмечал: «⟨...⟩ главная черта всякого истинного художественного произведения — цельность, органичность, такая, при которой малейшее изменение формы нарушает значение всего произведения» (30, 131).

Толстой считал, что действие этого закона прослеживается от сюжета и композиции в целом до каждого слова или такта (в музыке) в отдельности. И это был, действительно, тот выс-

ший творческий закон, которому подчиняется слово в классических произведениях художественной литературы.

IV

Слово в классическом произведении художественной литературы неприкосновенно. Когда царь потребовал от Пушкина, чтобы он переделал «Бориса Годунова», Пушкин ответил: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное» (Пушкин-критик. С. 174).

Ответ Пушкина очень понравился Толстому, потому что ему был близок общий взгляд поэта на значение и достоинство слова в литературе (Толстой в воспоминаниях современников.— Дневник В. Ф. Лазурского // Литературное наследство. 1939. Т. 37/38. С. 497).

В вопросах творчества Толстой придерживался тех же правил. И тут никто не мог его «сбить с пути». Даже пасьянс... Как-то стали мучить его сомнения относительно одной главы из «Воскресения». Он все хотел ее переделать, но не мог решить, нужно ли ее переделывать. И тогда вновь прибег к помощи пасьянса. Загадал так: если пасьянс выйдет, то не надо переделывать; если же не выйдет — то непременно — переделать!

Результат оказался самым неожиданным:

«— Пасьянс не вышел,— рассказывает Толстой.— Тогда я второй раз разложил. Опять не вышел <...> Тогда я думаю: нет, врешь, все-таки так надо, как я написал» (Записи П. А. Сергеевко // Литературное наследство. Т. 37/38. С. 540).

В этом восклицании — весь Толстой, со всей его верой в силу слова и его предназначение.

Сколь ни упрям был пасьянс, а Толстой был еще упрямее. Он искал и находил ту полноту и гармонию речи, когда, по его собственному выражению, «слова прибавить, убавить или изменить нельзя». Толстой мог семь и десять раз переиначивать черновики «Войны и мира», но «не в силах уже, как говорил Пушкин, переделать <...> однажды написанное», когда чувствовал, что его работа окончена, и каждое слово — «живое *само* и прелестно» (61, 235).

«Мы вовлекаем прозу в поэзию...»

Л. Толстой и Б. Пастернак

В. И. Новиков,
кандидат филологических наук



Я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма <...> С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел <...> Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Так 23 ноября 1894 года Борис Пастернак впервые увидел Льва Толстого, о чем он много лет спустя рассказал в автобиографическом очерке «Люди и положения» (Пастернак Б. Л. Избранное: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 227; далее — только том и стр.). Этот маленький эпизод трудно назвать «встречей»: перед взглядом четырехлетнего ребенка предстал шестидесятишестилетний прославленный писатель, — и тем не менее здесь зафиксировано событие достаточно символичное. «Толстой и Пастернак» — важнейший стык отечественной культуры, увлекательная научная проблема, которая только еще начинает разрабатываться. Знаменательно, что на Первых Пастернаковских чтениях, состоявшихся в 1987 году в Москве, ей было посвящено два серьезных, содержательных доклада: «Толстовская атмосфера в творчестве Пастернака» Е. В. Пастернак и «Пастернак и Л. Толстой. К вопросу о традиции» Е. Ф. Варламовой. Однако есть еще не затронутые аспекты этой проблемы, в частности — творческое отношение двух художников к слову. Об этом и пойдет речь в наших заметках.

Своеобразный ключ к пониманию глубинной сути толстовских художественных поисков дает такая запись в дневнике писателя: «Я обтирал пыль в комнате, и, обойдя кругом, подошел к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычны и бессознательны, я не мог и не чувствовал, что это уже невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал и забыл это, т. е. действовал бессознательно, то это все равно как не было <...> Если целая сложная жизнь многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1953. Т. 53. С. 141—142; далее — только том и стр.). И во всех своих произведениях — от «Детства» до рассказов 1900-х годов — Толстой стремился разбудить читательское сознание, помочь людям преодолеть автоматизм мышления и чувствования.

Поэтика молодого Толстого формировалась в споре с романтической прозой (что было убедительно доказано и обстоятельно показано Б. М. Эйхенбаумом). Отказываясь от субъективно-мечтательного видения мира, от зыбких оттенков и полутонов, писатель вырабатывает свой собственный взгляд, трезвый и прямой: «Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими желтыми листьями, и разговаривать» (1, 29). В приведенном фрагменте из «Детства» автор решительно избегает каких-либо поэтизмов, здесь вовсе нет тропов, эмоциональных эпитетов, нет и характерной для романтической прозы лирической интонации. Казалось бы, Толстой просто называет вещи своими именами, но для такого «называния» приходится искать слова свежие, неза-taskанные. Не просто «пошли гулять», а *побежали шаркать ногами и разговаривать*. Сама конкретность, пристальность изображения создает какой-то энергичный настрой, и прозаичное *шаркать* звучит совсем по-особому. Толстой искал и находил поэзию в неприбранной обыденности. Эта особенность его художественного мира может вполне быть охарактеризована словами Пастернака из «Охранной грамоты»: «Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии» (2, 148). Заметим, что «мы» здесь относится не к какому-то отдельному направлению и даже не к конкретному творческому поколению. Пастернак здесь говорит от имени всех художников слова, от имени литературы. Его, как и Толстого, постоянно занимал вопрос о взаимоотношениях прозы и поэзии, о путях их плодотворного соединения.

«Втаскивать вседневность в прозу» — это не значит просто усапцать язык бытовыми реалиями. Читая какое-нибудь средне-беллетристическое произведение прошлого века, где каждая стра-

ница пестрит «партикулярными парами» и «податными инспекторами», «кринолинами» и «пачулями», мы никакой поэзии в них не ощущаем. То же можно сказать и о сегодняшних натуралистических однодневках, где современный колорит создается обилием, казалось бы, внешне достоверных деталей вроде «водолазки», «дубленки», «кассетника», но узнаваемость этого прозаического инвентаря отнюдь не прорывает пелену «бессознательности» и автоматизма восприятия жизни.

Эффект поэтичности, обновления взгляда создавался Толстым при помощи таких слов, которые сгущали прозаичность до необычной степени, до «странности». (Тут нельзя, конечно, не вспомнить термин В. Б. Шкловского «остранение», созданный ученым для характеристики толстовского стиля и произведенный именно от основы «странный», однако затем «потерявший» второе «н»). Толстой использовал не ежедневно употребляемые прованзмы, а кавказские экзотизмы, русские диалектизмы и просторечные слова, военные и охотничьи термины, иногда даже научные термины, чересчур «прозаичные» и конкретные для художественной речи. Он брал их не целыми пригоршнями, а по одному, осторожно и ответственно вводя их в общую словесную картину. Роль такого «странного» слова можно сравнить с резким цветовым пятном в живописи или с внезапным диссонансом в музыке. Нарушить автоматизм восприятия, оттенить картину, при помощи частичного «сбоя» дать сильнее почувствовать гармонию целого — такова задача писателя в данной художественной ситуации (необязательно, чтобы задача эта субъективно осознавалась, важно ее объективное наличие и осуществление).

Возьмем такую фразу из «Отрочества»: «— Василий, — говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах, — пусти меня на козлы, голубчик» (2, 7). Автор использует просторечное выражение *удить рыбу* (то есть дремать сидя), специально выделяя его курсивом как непривычное в литературном языке. С точки зрения абстрактно-логической без этой краски можно было бы и обойтись. Но эмоциональное действие оказывается: читатель никак уж не задремлет на этом месте, натолкнувшись на эти курсивные слова, он острее переживет чувства Николеньки Иртеньева, которому хочется посидеть на козлах.

Такого же рода пример из «Войны и мира»: «Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятав полено (хвост) между ног, и надал скоку» (10, 253). Толстой не уверен, что читатель поймет охотничье словечко *полено*, он вынужден даже в скобках дать его «перевод». Но без

этого *поле* не было бы того эффекта присутствия, который мы ощущаем, читая сцену охоты.

Острый и тонкий вкус к «странному» прозаично-конкретному слову был характерен и для Пастернака. Причем в особенности это сказалось не в прозаических, а в стихотворных его произведениях. Уже в цикле ранних стихов «Начальная пора» (1912—1914) это наблюдается весьма отчетливо. Поэзия здесь укоренена в прозе — причем не декларативно, а самую внутренней логикой образных сравнений. Воображаемая, «воздушная» реальность («Со мной, с моей свечою вровень/Миры расцветшие висят») обретает физически достоверные очертания в стихотворении «Как бронзовой золой жаровень...» (здесь и далее в стихотворных примерах курсив наш. — В. Н.):

Где сад висит *постройкой свайной*
И держит небо пред собой.

Почти «техническое» выражение «свайная постройка» парадоксально и в общем словесном строе, и с точки зрения обыденной логики, но эмоциональный эффект ощутим и понятен.

Поэтизация города у раннего Пастернака в стихотворении «Сегодня мы исполним грусть его...» осуществляется при участии конкретных по значению, нечасто употребляемых слов:

(...) И росли дома,
И опускали перед нами *сходни*.

Неожиданные «сходни» как бы уже подразумевают метафору «дом — корабль», делают уподобление не вычурно-литературным, а психологически убедительным.

«Странными» словами у Пастернака часто предстают небрежные, ненормативные формы, хранящие отчетливый отпечаток свободной разговорности: «И вот уже сумеркам *невтернь*(...)\», «Но одному ему *вдогад*(...)\», «В тихом детском храпе/Наспанная *наволока*» (1, 35, 38, 107). Казалось бы, отклонения от нормы достаточно случайные, без вызова. Но эти «ошибки» дороги автору как неповторимые свидетельства того душевного состояния, в котором создавались стихи. И эти свидетельства он хочет в неотредактированном виде передать читателю. Это уже принципиальный творческий момент. Как сказано в стихотворении «Анне Ахматовой»:

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь,— мне это грын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

Вот это умение не расстаться с «ошибкой» (то есть, серьезно говоря, с точным словесным впечатлом поэтического чувства), это доверие к первозданности жизни, к своему внутреннему миру, к душевной отзывчивости будущего читателя — важнейшая черта пастернаковского отношения к творчеству, роднящая его с Толстым.

Говоря об ахматовской поэзии, Пастернак употребил важную для него и для нас формулу «прозы пристальной крупницы». Подобно тому, как Толстой строил свою художественную систему в споре с романтизмом, Ахматова и Пастернак обретали себя в процессе творческого отталкивания от символистской поэтической традиции. Продолжим цитату из «Охранной грамоты»: «Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки» (2, 148). Символизм был в высшей степени «музыкален» — и по мировидению, и по стиховой поэтике. Но надо было искать новую гармонию, новую музыку, а ее ресурсы таились в прозаизации стиха. Ахматова нашла свою «прозу» в сюжетности, в психологизме лирических ситуаций. Пастернак — в словесно-образном прорыве границ между словами и вещами, между словами многозначными и предельно конкретными. У него «крупницы» прозы в стихах — это «странные» слова, впервые получающие пропуск в литературный язык,

К строке из «Определения творчества»: «И какую-то черную доведь <...>» поэт дает собственное примечание: «Доведь — пашка, проведенная в край поля, в дамы». А строка из стихотворения «Определения поэзии», входящего в тот же цикл «Занятье философией», а именно: «Это слезы вселенной в лопатках» — потребовала впоследствии обстоятельного авторского разъяснения: «Лопатками в дореволюционной Москве назывались стручки зеленого гороха...» (1, 89, 88, 547).

Художественная функция слов *доведь* и *лопатки* в поэтических созданиях Пастернака ощутимо близка к функции слова *полено* в толстовской картине охоты. Ничего, что нарушается коммуникативная ясность, что читательскому сознанию приходится «цепляться» за отдельные слова. Задача искусства не в том, чтобы гладко «пройти» сквозь читательское сознание, а в том, чтобы «зацепить» его в кульминационных точках эмоционально-стилевого движения речи.

Прозаическая речь Толстого и поэтическая речь Пастернака производят сходное впечатление стремительного потока. Этому потоку необходимы плотины «странных» слов: сдерживая интонацию, они вместе с тем раскрепощают всю ее энергию. «Нестандартный» синтаксис Толстого сразу обратил внимание современ-

ников — точно так же была замечена необычность синтаксиса Пастернака. Уже в 1922 году сатирики Ник. Адуев и Арго в журнале «Россия» (№ 3) «передразнивали» поэта следующим образом:

И в самой горчайшей из горьких неволь
Живу и мучителен сплин тоски.
И выйду на волю и вновь головой
В сплошной пастернаковский синтаксис.

Любопытна «лингвистическая» направленность этой пародии, хотя сама интонация Пастернака скопирована здесь довольно топорно. Пародисты не учли (или не смогли передать), что «странный» порядок слов и необычные конструкции для Пастернака не изыск, а органичный способ художественного изъяснения.

Синтаксис Пастернака теснейшим образом переплетен с ритмическим строем стиха. Отсюда — радикальное переосмысление Пастернаком традиционных размеров, глубоко исследованное М. Л. Гаспаровым в его докладе «Семантика метра у раннего Пастернака» (Первые Пастернаковские чтения). Смысловая повизна ритма, его освобождение от привычных литературных ассоциаций достигались поэтом при активном участии словесных средств. Не претендуя на их исчерпывающий анализ, отметим только выразительную роль «длинных» слов, весьма любимых Пастернаком и звучащих с новой, «странной» музыкальностью. В стихотворении «Десятилетье Пресни» читаем:

Сумел исчезнуть от масштаба
Разбастовавшихся небес.

Слово *разбастовавшихся* заняло три стопы четырехстопного ямба, оно само по себе «разбастовалось», заменив одним своим словесным ударением целых три метрические ударения.

Но для двусложных размеров это еще не диковинка. Пастернак же основательно перетряхивает и трехсложники, перегоразживая их схемы «сверхдлинными» словами, как это наблюдаем в стихотворении «Дурной сон»:

Расскальзывающаяся артиллерия
Тарелками ластится к отзывам ветра.

Не узнать здесь мерно-повествовательный амфибрахий: эпитет *расскальзывающаяся* вобрал в себя три стопы и создал ощущение тревожной неуютности. Точно так же в стихотворении «Душа» заглавный образ поясняется словом *вольномотпущенница*, вбирающим три метрически сильных места: затрудненностью дыхания передается сложнейшее душевное ощущение, «Длинные»

слова создают порой поразительные по динамике звуковые картины:

*И сталкивающиеся глыбы
Скрежещущие пережевы.*

Это из стихотворения «Ледоход», где в самом звучании слов столкнулись ледяные глыбы. Как и Толстой, Пастернак стремился к физической осязаемости слова, эмоциональной его доказательности.

Какие же выводы можно сделать из этого сопоставления? Прежде всего, вывод о глубокой художественной оправданности языковых «странностей» и трансформаций, продиктованных теми неповторимыми эмоционально-смысловыми задачами, которые ставят перед собою большие художники. В очерке «Люди и положения» Пастернак писал о Толстом:

«Главным качеством этого моралиста, уравниателя, проповедника законности, которая охватывала бы всех без послаблений и изъятий, была ни на кого не похожая, парадоксальности достигавшая оригинальность.

Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончательности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема» (2, 250—251).

Нетрудно увидеть, что в этом высказывании отразились не только наблюдения Пастернака над поэтикой Толстого, но и глубокие самонаблюдения. Над приведенными словами стоит поразмышлять. Только, пожалуй, необязательно так уж буквально перенимать у поэта отрицание реальности «писательского приема». Для больших художников, свободно владеющих громадным арсеналом приемов, естественно на них не обращать внимания и «зерен в мере хлеба не считать». Но для нас, читателей и исследователей, нет иного пути в мир художника, чем пристальное внимание к сложным путям прозаического и поэтического слова.

Из Записок филолога



В. Э. Вацуро,
кандидат филологических наук

Перевод до оригинала

Есть грот: Наяда там в полдневные часы
Дремоте предает усталые красы,
И часто вижу я, как нимфа молодая
На ложе лиственном покоится нагая,
На руку белую под говор ключевой
Склоняясь челом, венчанным осокбй.

Эта необыкновенная по изяществу идиллическая картинка на античный мотив написана Е. А. Баратынским в 1826 году и в первом его сборнике носила подзаголовок «Подражание Шенье». В самом деле, источник ее находится среди отрывков идиллий замечательного французского поэта Андре Шенье (1762—1794), столь любимого Пушкиным и его литературными соратниками. Баратынский воспользовался «фрагментом» Шенье «Je sais, quand le midi leur fait désirer l'ombre...», сжал его, сделав строже и лаконичнее, и лишь в конце довольно близко подошел к своему оригиналу: Наяда (нимфа вод, покровительница сил природы) у Шенье «спит и при ропоте волн склонила на руку чело, увенчанное камышом». Об этом можно прочесть в комментариях к стихам Баратынского (Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982).

Идиллия не прошла незамеченной. Белинский в 1842 году включил ее в число стихов, «достойных памяти и внимания». Поэты подражали ей и брали из нее формулы:

Толпы Ондин, венчанных осокбй...

(Стихотворения Василия Романовича. СПб., 1832).

Стихи Шенье через посредничество Баратынского входили в русскую поэзию. И никто — даже, как можно подозревать, и сам Баратынский, — не предполагал или не помнил, что заключительный образ, точно передающий французский подлинник, существовал в русской поэзии ранее, чем она познакомилась со стихами Шенье.

«Перевод» был сделан без «оригинала».

В 1819 году Анри де Латуш впервые собрал стихи Андре Шенье, до тех пор неизданные, и открыл Франции и Европе великого поэта, до того известного по нескольким строкам его соотечественников Шатобриана и Мильвуа и по отдельным стихотворениям, погребенным в старых газетах и альманахах или сохранившимся в памяти мемуаристов. С 1819 года имя Шенье называется и в русской литературе, а в начале 1820-х годов начинается его широкая известность, Формула же «венчанный осокбй» появляется ранее.

Мы находим ее у ближайшего друга Баратынского А. А. Дельвига в стихах «На смерть Державина» (1816), где он предсказывал Пушкину первое место на русском Парнасе:

Венчан осокбю ручей убежал от повергнутой урны,
Где Бахус на тигре, с толпою вакханок и древним

Силеном,
Иссечен на мраморе — тина льется из мраморной
урны, —

И на руку нимфа склоняясь, печально плескает струю!

Это была поэзия, полная античных мифологических образов. Бахус, Дионис — бог растительности, покровитель виноградарства и виноделия; Силен — его воспитатель и наставник... И в их числе была Наяда, склонившая голову на руку, как в идиллии Андре Шенье.

Баратынский, конечно, знал эти стихи. В 1819 году он жил вместе с Дельвигом, — и, быть может, самый образ Наяды получал окончательное воплощение на его глазах. В ранних редакциях эта строчка читалась:

И нимфа, на бреге сидя, уж не плещет в подругу струю
(Дельвиг А. А. Полн. собр. стих. Л., 1959. С. 111, 287).

Что же касается первой строки, то она не была изобретением Дельвига. Молодой поэт перефразировал «Ключ» Державина:

Седящ, увенчан осокбю,
В тени развесистых деревьев,
На урну облегшись рукою,
Являющий лице небес
Прекрасный вижу я источник.

В 1779 году, когда создавались эти стихи, Андре Шенье было семнадцать лет, и идиллия его еще не была написана.

«Перевод» был сделан до «оригинала».

Когда Баратынский прочитал впервые фрагмент из идиллии Шенье, в его сознании заново возникли поэтические ассоциации, которых он скорее всего и не осознавал. Он не «переводил» в точном смысле слова, он создавал свои стихи на тему Шенье, и в них возрождался опыт, уже накопленный русской поэзией. И центральный образ, и центральная поэтическая формула сложились в них самостоятельно, и стихи Шенье лишь пробудили и организовали поэтическую мысль. Так нередко происходило с переводами пушкинского времени, и маленькая идиллия Баратынского — не исключение, а очень характерный случай «оригинального перевода».

Петрарка в стихах на смерть Пушкина

В. А. Жуковский написал стихи на смерть Пушкина:
Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе,
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним (...)

Это стихотворение «А. С. Пушкин» — одно из лучших, посвященных памяти поэта, и одно из самых личных у Жуковского. Мы знаем сейчас, что возникло оно почти одновременно с письмом Жуковского Сергею Львовичу Пушкину от 15 февраля 1837 года о смерти его сына, и многое в нем находит соответствия в прозаическом тексте. «Голова его несколько наклонилась; руки (...) были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. (...) В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печаль наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. (...)»

Опишу в немногих словах то, что было после. К счастью, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось; но всё мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон» (Жуковский В. А. Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. I. С. 316; Т. III. С. 510).

Все это были чувства Жуковского, мысли Жуковского, прошедшие ему в минуты, единственные в своем роде. Но сознание поэта работало как культурное сознание, и оно осмысливало происходящее так, как подсказывал ему культурный опыт чело-

вечества. Из глубин этого опыта всплывали слова, образы, уподобления для описания скорби и таинства смерти.

Петрарка посвятил прочувственные строки памяти своей Лауры. Батюшков передал русской прозой эти строки из поэмы «Триумф смерти»: «<...> самая смерть ее,— замечал он,— торжество жизни над смертью. «Она погасла, как лампада,— говорит стихотворец (Петрарка.— В. В.),— смерть не обезобразила ее престей; нет! не смертная бледность покрыла ее лице: белизна его подбилась снегу, медленно падающему на прекрасный холм в безветренную погоду. Она покоилась, как человек по совершении великих трудов: и это называют смертью слепые человеки!» (Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 151—152).

Статья Батюшкова — близкого друга и литературного соратника Жуковского — не была, конечно, в прямом смысле источником его описания,— но была частью той культурной традиции, в русле которой шел Жуковский. Поэтому ни легкое сходство в изображении облагораживающей смерти, ни сквозной образ упокоившегося после тяжелого труда нельзя считать случайным совпадением. Жуковский черпал из культурного фонда, даже не всегда это осознавая. И далее — в том фрагменте «Триумфа смерти», который уже не был пересказан Батюшковым, мы находим у Петрарки еще один, впрочем, очень популярный, образ смерти — сна, который есть и в письме Жуковского:

«Дух ее отлетел,— и то, что глупцы называют смертью, было подобно сладкому сну на прекрасных веках.

Смерть казалась прекрасной на прекрасном лице».

Ленинград

«Черный, черный оку- зелен...»

Л. В. Зубова,
кандидат филологических наук



арина Цветаева неоднократно говорила, что пишет по слуху, однако не только звуковые, но и зрительные образы занимают в ее поэзии значительное место. У Цветаевой есть целые стихотворения, циклы, фрагменты поэм, драматических произведений, построенные на активном использовании слов со значением цвета: «Цыганская свадьба», «Бузина», «Отрок», «Душа», «Скифские», «Переулучки», «Георгий», «Автобус», «Ариадна» и др.

Анализ цветообразования в произведениях Цветаевой, проведенный по двум изданиям (Цветаева М. Избр. произведения. М.—Л., 1965; Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М., 1980. Т. 1), показал, что наиболее употребительны у поэта слова с корнями *-черн-*, *-бел-*, *-красн-*, *-син-*, *-зелен-*, то есть чаще всего обозначенными оказываются основные цвета, традиционно выделяемые человеком. Это тона простые и максимально насыщенные. Специалисты по цветоведению отмечают, что предпочтение чистых и ярких цветов смешанному, оттеночному, свойственно в истории искусств периодам расцвета, такие цвета являются активными раздражителями, удовлетворяют потребностям людей со здоровой, не утомленной нервной системой (Миронова Л. Н. Цветоведение. Минск. 1984).

Оттенки обозначены Цветаевой почти только у одного красного цвета, но зато многообразно. Они представлены словами с 17-ю различными корнями: *красный*, *пурпурный* и *пурпуровый*, *алый*, *рдяный*, *ржавый*, *рыжий*, *румяный*, *розовый*, *кумачовый*, *кумашный*, *червонный*, *багровый* и *багряный*, *огненный*, *малиновый*, *крававый*, *вишенный*, *жаркий*, *цвета зари*. Характерно, что издревле *красный* первым из всех цветов противопоставлялся *черному* и *белому* и осознавался именно как цвет (Колесов В. В. БЪЛЫЙ // Русская историческая лексикология и лексикография,

Л., 1983. Вып. 3. С. 11). Оттенки красного широко используются для цветообозначения всеми народами — как в современных литературных языках, так и в диалектах (Пелевина Н. Ф. О соотношении языка и действительности (обозначение красного и синего цветов) // Филологические науки. 1962. № 2).

В психологии и медицине красный цвет характеризуется как «возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, проникающий, тепловой, активизирует все функции организма; <...> на короткое время увеличивает мускульное напряжение, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания» (Миронова Л. Н. Указ. соч. С. 182). Энергия, возбуждение, ускоренный ритм, активность — все это, несомненно, характеризует и цветаевскую поэтику. Тема огня и огненная символика — очень важные элементы в творчестве Цветаевой, начиная с ее ранних стихов.

Непосредственно за группой максимально насыщенных тонов у Цветаевой следуют *лазурный, лазоревый, золотой, серебряный* — прилагательные-цветообозначения, имеющие традицию употребления в фольклоре и в литературе XVIII—XX вв. Создавая свой поэтический мир, Цветаева нередко за точку отсчета принимает мир народной культуры, отраженный в фольклоре и классической литературе, однако это не заимствование, а переосмысление.

Цветаева активно употребляет прилагательные, качественное значение которых развилось из относительного: не только *золотой и серебряный*, но и *ржавый, розовый, кумачовый, вороной, янтарный, огненный, снеговой, малиновый, льняной, кровавый, вишеный, агатовый, жемчужный, перламутровый*. Такие прилагательные, образные по своей природе, более способны и к выражению связей между явлениями внешнего мира, чем прилагательные изначально качественные.

В произведениях Цветаевой можно встретить описательное или иносказательное цветообозначение. В качестве примера приведем фрагмент из лирической сатиры «Крысолов»: «Соломонова пшеница —/Косы, реки быстрые./ Что же мнится? что же снится/ Дочке бургомистровой?» Или вот строфа из «Отрока» (4):

Иерихонские розы горят на скулах,
И работает грудь наподобье горна.
И влачат, и влачат этот вздох Саулов
Палестинские отроки с кровью черной.

Для поэзии Цветаевой чрезвычайно характерно явление «синестезии» — одновременного отражения зрительных, слуховых, осязательных и других ощущений, Один из ярких примеров это-

го явления — отрывок из поэмы «Автобус». Передавая впечатление человека от резкого перемещения из города на природу, Цветаева пишет:

Зелень земли ударяла в голову,
Освобождала ее от дум.

Зелень земли ударяла в голову,
Переполняла ее — полным!

Переполняла теплом и щебетом —

Зелень земли ударяла в ноздри
Нюхом — *так* буйвол не чует трав!

И, упразднив малахит и яхонт:
Каждый росток — животворный шприц
В око: — *так* сокол не видит пахот!
В ухо: *так* узник не слышит птиц!

Зелень земли ударяла в ноги —
Бегом (...)

— Зелень земли ударяла в щеки
И оборачивалась — зарей!

Интенсивность и всеохватывающая сила весенней зелени гиперболизированы (преувеличены) в образах разнородных ощущений — слуховых, обонятельных, осязательных вплоть до болевых; *зелень* представлена побудителем движения. Характерно, что все названные ощущения приближаются к пределу и преодолевают его: зоркость до слепоты, обостренный слух до глухоты, обоняние — до его потери. И зеленый цвет в серии этих гиперболов тоже превращается в свою противоположность: обостренное восприятие *зелени* вызывает яркий румянец, представленный как воплощение самой зелени. Интересно, что такое образное описание психологического воздействия *зелени* вполне соответствует научным положениям: зеленый цвет в психологии и медицине характеризуется как физиологически оптимальный, повышающий двигательную-мускульную работоспособность.

В произведениях Цветаевой нередко совмещаются прямые, переносные и символические значения слов, образуя странные на первый взгляд, парадоксальные сочетания: *из лазоревых горстей, синяя верста, в черных пустотах твоих красных, пурпур — сед* и др. Во всех случаях такие сочетания мотивированы контекстом: «Горе! Горе! / Лютый змей! / Из лазоревых горстей / Дарственных твоих — что примем, / Море, море? Было синим (...).», Это

был фрагмент из трагедии «Ариадна», а вот строфа из «Царь-Девицы»: «Не естся яблочко румяно, / Не пьются женские уста, / Всё в пурпуровые туманы / Уводит синяя верста».

Лазоревые горсти здесь — морские волны, *синяя верста* — тоже перифраза, обозначающая взгляд в далекое пространство синеглазого Царевича-гусяря, героя поэмы-сказки «Царь-Девица».

В двух следующих примерах обнаруживается явный цветовой алогизм — совмещение несовместимого:

Огнепоклонник! Не поклонюсь!
В черных пустотах твоих красных

Стройную мощь выкрутив в жгут —
Мой это бьет — красный лоскут!

Отрок (2)

На плечи — перетомилась! — ляг,
Ладанный, слеполетейский мрак
Маковый...

— ибо красный цвет
Старится, ибо пурпур — сед
В памяти (...)

Земные приметы (8)

Парадоксальность сочетания *в черных пустотах твоих красных* снимается изображаемой сценой: в черных глазах героя виден отблеск огня; седой цвет пурпура прямо объяснен словом *старится*: красный цвет выступает здесь как символ жизненной силы, неминуемо угасающей и переходящей в старческую слабость.

Превращение признака в противоположный обнаруживается и в преобразовании привычных символов — таких, например, как *черное и белое*. Н. А. Козина на материале очерка «Мой Пушкин» показала, что в художественной системе ценностей Цветаевой черное — это знак положительного, а белое — знак отрицательного. Черный цвет соотносится со смыслами: *полный, значительный по величине, самый лучший, тайный, полный страдания*; белый — *пустой, незначительный по величине, неинтересный, явный, счастливый* (Козина Н. А. Антонимия в очерке М. Цветаевой «Мой Пушкин» // Проблемы семиотики. Сб. науч. трудов Латв. ун-та им. П. Стучки. Рига, 1982). Анализ цветообозначения в поэзии Цветаевой демонстрирует, что те же значения слов *черное* и *белое* характерны и для стихотворных произведений, и, очевидно, для всего ее творчества.

Именно на таком противопоставлении, связанном с нравственной оценкой личности, строится, например, стихотворение «Суда напрасно не чини...», цикл стихов о Пушкине, сюжетно

важные фрагменты из драматических произведений «Ариадна» и «Федра». *Черное* связано у Цветаевой прежде всего с высокоценным ею понятием страсти, включающим в себя все признаки, перечисленные Н. А. Козиной, а *белое* — с бесстрашием. Поскольку страсть есть понятие, выходящее за пределы морали, и в обыденном сознании оценивается отрицательно, противоречие между цветаевской и обыденной оценкой выражается в употреблении противоречивых (оксюморонных) сочетаний: «И голубиной — не черни / Галчонка — белизной» (то есть не оскорбляй страсть обыденной оценкой); «Того чернотой / Тебя обелю» (то есть Ипполитовым грехом бесстрашия — Федрину правоту).

Разумеется, символические значения *черного* и *белого* в творчестве Цветаевой неоднозначны. Например, *белое* в значении «пустое» в системе ее символов может обозначать и готовность к заполнению, способность к восприятию: «Я — страница твоему перу. / Всё приму. Я белая страница. <...> Ты — господь и Господин, а я — / Чернозем — и белая бумага!» В этих строчках, как и во многих других случаях, противоположности — *черное* и *белое* — сближаются.

Цветаева постоянно стремится показать общее в противоположном. В трагедии «Ариадна», написанной по мотивам античной мифологии и литературы, последовательно и скрупулезно доказывается, что черное есть белое — на основе переносных значений слов и традиционной цветовой символики. По сюжету трагедии Тезей, победивший Минотавра, но огорченный утратой Ариадны, возвращается домой на корабле не под белым парусом — условным знаком победы, а под черным. Увидев черный парус — условный знак скорби — отец Тезея Эгей бросается со скалы в море. События комментирует хор юношей:

В час осыпавшихся вёсен,
 Ран, певедомых врачам,
 Черный, черный лишь преносен
 Цвет — горюющим очам.

В час, как розы не приметил,
 В час, как сердцем поседел —
 Черный, черный оку — светел,
 Черный, черный оку — бел.

В час раздавшихся расселин —
 Ах! — и сдавшихся надежд! —
 Черный, черный оку — зелен,
 Черный, черный оку — свеж.

Посему под сим злорадным
 Знаком — прибыли пловцы.
 Пребелейшей Ариадны
 Всё мы — черные вдовцы.

В час, как всё уже утратил,
 В час, как всё похоронил,
 Черный, черный оку — красен,
 Черный, черный оку — мил.

Всё мы — черные нубийцы
 Скорби, — сгубленный дубняк!
 Всё — Эгея соубийцы,
 И на всех проклятья знак —
 Черный...

Используя переносные значения слов *зелен — свеж, красен — мил, бел — светел* (хорош), Цветаева как бы поясняет прилагательные-цветообразования прилагательными психологического восприятия. Превращение черного в белое объясняется мировоззрением поэта: сильная страсть есть жизнь, а успокоение — смерть. Символ предельной скорби — черное — у Цветаевой, как мы это наблюдаем в начале приведенного отрывка, означает жизнь. Но поэт показывает, как скорбь находит в черном цвете утешение гармонией, и таким образом черное выполняет символизирующую роль белого: теперь уже белое становится символом смерти. Характерно, что черное и белое могут иметь одинаковый символический смысл в погребальных и свадебных обрядах разных народов.

Физик Ю. В. Пухначев, первым обративший внимание на изобразительность как важный элемент художественной системы Цветаевой, писал, что ее зрительные образы, динамичные по своей природе, сходны с образами кинематографа (Пухначев Ю. В. Пространство Цветаевой // Пухначев Ю. В. Число и мысль. М., 1981). Исследование цветообозначения подтверждает это наблюдение. Важно еще и то, что понятия изменчивости, превращения в противоположное связаны с диалектикой художественного мышления Марины Цветаевой.

Ленинград

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Что такое *редут*?»

Женя Николаев, ученик 6-го класса, Москва

Редутом в XVII—XIX веках называли особый вид временного окопного укрепления. Это было закрытое со всех сторон земляное сооружение в виде четырех- или многоугольника.

Сам термин *редут* вошел в русский язык еще в самом начале Петровской эпохи. Слово в том же самом значении было известно в XVII веке во французском, итальянском и других европейских языках. В его основе лежит латинское причастие *reductus*, означавшее «отведенный, отодвинутый назад». В редуте, действительно, можно было держать круговую оборону.

Слово *редут* довольно часто встречается в нашей старой литературе, а также в произведениях исторического жанра (по книге: З. Н. Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я. Дерягин «О культуре русской речи»).

Как построен псевдоним

А. А. Колганова,
кандидат филологических наук

Когда заходит речь о литературных псевдонимах, обычно задаются вопросом, с какой целью писатели, поэты пользуются ложными (по-гречески *pseudo* — ложный), зашифрованными, заимствованными именами. Причин множество: одних авторов к этому вынуждали жесткие цензурные условия, боязнь преследования властей или осерчавших критиков, иные скрывали неблагозвучие своих настоящих фамилий, третьи маскировались из скромности или опасения, что их труд не найдет признания у читательской публики. О происхождении и разнообразии типов вымышленных литературных имен, а их известно свыше пятидесяти видов (акронимы, криптонимы, метонимы, анаграммы, псевдоинициалы, патронимы, матронимы и т. д.), существует специальная научная и научно-популярная литература. Науку о псевдонимах по аналогии с ономастикой (наукой об именах) В. Г. Дмитриев, автор исследования «Скрывшие свое имя» (М., 1977) называл *псевдономастикой*, или *псевдонимикой*, то есть наукой о ложных именах.

Со временем псевдонимы приобретали все более изощренные формы, все большую выразительность, а посему представляется весьма интересным рассмотреть языковые, лингвистические принципы образования литературных имен-масок в русской литературе.

Начнем с простого способа конструирования псевдонима, когда литературное имя образуют инициалы автора, и тогда оно, как правило, довольно легко расшифровывается, даже если инициалы обозначены греческими или старославянскими буквами. Например, среди русских литераторов были в свое время *Омега* и *Альфа*, *Сигма* и *Юс*, *Аз* и *Буки*. Писатель Ф. Я. Селезнев маскировался подписью *Фита-Эс*, а П. А. Травин — *Покой Твердо*.

Встречаются имена-ребусы. Например, *Аэл* (А. А. Лактионов) звучит красиво и даже необычно. Но поставьте рядом *Аэм* — и слетает таинственность, видна схема создания псевдонима: первые буквы имени и фамилии соединены в слово. Оно получилось из инициалов писателя А. К. Шеллер-Михайлова; легко увидеть буквенную основу в форме *Атский* (А. Т-ский). Такие фамилии-самозванки не имели при себе имени, и этим нарочито подчеркивалась анонимность произведения, но жили они уже по законам имени собственного, склонялись как фамилии.

Отчество автора тоже не оставалось без дела, с XIX века в России во множестве появляются Ивановы, Николаевы, Ефимовичи, Филиппычи, а также варианты, возникшие из имени отца или матери: Сашин, Марьян, Женина.

При создании псевдонимов литераторы нередко видоизменяли собственные имена, отчества и фамилии. Загадки старых книг часто начинаются с псевдонимов, в коих запрятаны подлинные авторские имена. На титульном листе книги «Тени прошлого» (1919) читаем: И. Н. Нокентий. Читатель, вы увидели здесь зашифрованное имя *Иннокентий*? Но на этом разгадка и остановится: фамилия автора осталась в тайне. А в библиотечных каталогах так и стоит нелепая фамилия Нокентий...

Неискушенный читатель подпись *В. Торинович* считал фамилией. Но встречал он и *Вик-Торинович* (на книжке «Вождь», вышедшей в начале века). И лишь прочтя подпись как одно слово, получал разгадку. Имя *Вик* и фамилия *Торинович* получались из отчества Александра Викторовича Сульжикова, прозаика и драматурга.

Все же наиболее продуктивными бывали не имена, не отчества, а фамилии. Части их отбрасывались, слоги переставлялись. И вот из громоздкого слова — Великопольский — получалась звучная форма Велский; из Короткова — Рокотков. Автор мог выбросить «лишнее» из длинной фамилии. И возникали тогда, к примеру, *Мин* (из Шухмин и Минаев) или воинственное *Меч* (из Менделевич).

До сих пор не установлен автор книги «Весенний вечер или Собрание сочинений». Подпись *Ив-нисо* вызывает сомнение. А что если за ней скрывается некий Иван Осип, если прочесть подпись наоборот?

Знание лингвистических принципов образования литературных подписей часто помогает их расшифровке. Немало встречается диковинных фамилий, непривычных для русского слуха. Таинственный *Н. А. Авораж* оборачивается — в прямом смысле, при чтении справа налево — Н. Жаровым, а громкий *Вл. Воморг* звучит в обратном чтении гораздо проще — Вл. Громов.

Остроумно использовали русские писатели и такой словообразовательный прием как языковая калька. Читатель получал произведения публициста Петра Вейнберга за подписью *Камень Виногород* (по-гречески *petros* означает «камень», а по-немецки *Wein* — «вино»), а на обложках других книг Шрайбер (с немецкого «пишущий», «писарь») превращался в *Лисаревского*.

Стремление писателей к смысловому наполнению придуманных ими литературных имен приводило к тому, что получив-

шийся словообразовательным и лексическим путем псевдоним приобретал метафорическое звучание. Так, писатель А. В. Арсеньев не ограничился отсечением части фамилии. Взяв *Арс*, он развернул зашифрованную подпись в три старославянские буквы — *Аз Рцы Слово*. В переводе на современный русский язык псевдоним Арсеньева выглядит весьма назидательно-значимым: *Я сказал слово*.

Выбор подписи под произведением — дело сокровенное и значительное (тут и благозвучие нового имени подчас отступало на второй план), поскольку речь идет о рождении литературной личности. И если такая личность в литературе состоялась, то псевдоним, оплодотворенный временем, признавался в читательских кругах подлинным художественным открытием. Каждая историческая эпоха приносила свои литературные имена. В русской литературе было девять Недолиных!.. Революционная волна рубежа веков дала имена М. Горького, Д. Бедного, М. Голодного.

Однако появление псевдонима связано не только с приметами времени, нередко его рождение и форму диктует тема, жанр, объем произведения. Постепенно писательский псевдоним становился как бы заявкой на содержание, знаком идеи, носителем авторской программы. Случалось, что привычная, даже затертая форма писательского имени в сочетании с представлением о творчестве его обладателя вызывала стойкий читательский интерес, а он в свою очередь закреплял это имя за писателем.

Нынешнему читателю широко известная форма *Дядя Гилляй* кажется оригинальной. Но много лет назад, когда В. Гиляровский начал пользоваться этой подписью, он вовсе не был первооткрывателем. Примерно с середины прошлого века в беллетристических кругах, ориентированных на так называемого «народного» читателя, расплодилось всевозможные «дяди»: Дядя Федя, Дядя Влас, Дядя Адам, Дядя Коля, Дядя Павел, Дядя Панфилыч, Дядя Тит. Только в самостоятельных книжных публикациях заявили о себе пятеро Дядей Федоров, два — Дяди Пахомы. Меньше развелось «дедов», но их было достаточно, чтобы возникли семантические ряды: Дед Микола, Дед Травоед, Дедушка Пахом...

Уже само заглавие «Рассказы Дяди Пахома про добрых русских князей на святой Руси-матушке, родимой ли нашей сторопушке, как правили землей да жили меж собой», принадлежащее исторической повести, изданной в 1886 году, заключает в себе и элементы стиля, и сжатое содержание. Роль *Дяди Пахома* здесь гораздо шире указания на авторство, это одновременно и образ. Подлинное имя создателя повести так и осталось под

маской «дяди». Не раскрыт и псевдоним *Дед Макар*, стоящий на книге рассказов той же поры «Мужичок». Однако благодаря таланту В. Гиляровского этот тип литературного имени ожил, поскольку подпись *Дядя Гилляй* точно передавала истинно демократическое направление работы писателя. Новизна была не в структуре этого псевдонима, а в его происхождении от фамилии автора, в умелой стилизации под народное имя.

Смысловая гамма псевдонимов очень богата. Очевидна сатирическая нагрузка таких подписей, как *Комар* (А. М. Пазухин), *Злой Сатурн* (Ф. С. Шкулев). «Говорящими» были широко известные псевдонимы сатирика Д. Д. Минаева: *Михаил Бурбонов*, *Обличительный поэт*, *Тёмный человек*. Писатели превращали титульный лист в уравнение с одним, намеренно выделенным неизвестным. Так появились *Икс* (Е. Венский), *Игрек*, в других вариантах еще оригинальнее — «Z». Некоторые литературные имена подчеркнуто указывали на свою псевдонимность. Скажем, *Инкогнито* — А. Т. Грабина, *Аноним* — уже упоминавшийся сатирик Д. Д. Минаев, *Чуж-Чуженин* — Н. И. Фалеев; *Некий И. А.* — намекал на свои инициалы беллетрист И. А. Любич-Кожуров. Не случайна подпись Н. А. Лаппо-Данилевской под романом «В тумане жизни» — *Н. А. Кредо*. Измышляя себе имя, использовали понятие о слове, как основе писательской деятельности. Имеется нераскрытый псевдоним *Слово*, встречается форма *Аз-Слово*. Ее применял А. З. Фронштейн. Каламбур *АЗ* вылеплен из инициалов имени и отчества этого автора.

Но, пожалуй, наиболее эффектно семантика слова используется тогда, когда прилагательное берет на себя функцию фамилии. Так родились *Сергей Северный* (С. Н. Дурылин), *Петр Вольный* (П. А. Оленин), *Антон Степной* (А. И. Гуреев), *Василий Одинокый* (В. Б. Лехно), *Андрей Тяжелоиспытанный* (А. В. Прохорович).

Особую группу образуют псевдонимы, которые условно можно назвать вторичными, ибо они используют уже бытующее литературное имя. Делается это так: либо создается антоним, либо строится словосочетание — при помощи уточняющих слов (ими могут быть прилагательные, наречия, существительные с предлогом). И тогда появляются *Г. Горький*, *Н. Х. Горькая*, *Московский Поль де Кок*. Тогда некто В. Курицын, выплывая на волне «трущобной темы», поднятой В. Крестовским, свой роман «Томские трущобы» подписывает *Не-Крестовский*. А до него довольно смело с отрицательной частицей *не* обошелся Александр Сергеевич Соболев: собственное имя и отчество натолкнуло его на мысль о каламбуре. Родился псевдоним *Ал. Сер. Не-Пушкин*.

(Стихотворение «В честь Петербурга от возвратившегося жителя» вышло за этой подписью отдельной книгой в 1914 году).

Склонные к шутке писатели любили соединять известное имя с неожиданным, непредсказуемым эпитетом. Словосочетание становилось литературным прозвищем. В. Г. Дмитриев считал шуточными псевдонимами все те, где «комический эффект достигался посредством нарочитого контраста между именем и фамилией» (Скрывшие свое имя. С. 230). Это бесспорно, когда речь идет о *Жане Хлестакове, Рабле Самарском, Данте с Плющихи, Мефистофеле из Хамовников* — масках, имеющих «говорящий» адрес. Но часто видоизмененные заимствования нужны были и для литературной полемики, пародирования, когда под удар ставилось не только произведение, но и имя его автора. Например, в пору засилья эпигонской приключенческой литературы досталось и Артуру Конан-Дойлю. При этом имя его деформировали, но связь с первоисточником подчеркивалась. И если беллетрист, подписавшийся под книгой «Новых приключений» Шерлока Холмса как *Нот Дойль*, намекал на самостоятельность своего произведения, то стилизованное имя *Конан Долин*, поставленное на книге «Антипинкертоновщина», заявляло о споре с легковесным чтивом.

Для читателей начала столетия знакомо звучало имя *Обойденов*. Этим коллективным псевдонимом Н. М. Никольский и Л. Г. Мунштейн подписали свою пародию «Внуки Ванюшина». Шаржировалось одновременно и подлинное название известной драмы «Дети Ванюшина» и имя ее автора — *С. Найденова*, бывшее в свою очередь псевдонимом С. А. Алексева.

Эстетическая значимость псевдонима диктуется его стилистической окрашенностью, и нет выразительнее писательских имен, чем те, которые включены в название книги. Скажем, в известной книге В. Ф. Одоевского стилизация начинается с титульного листа, разворачивающего длинное заглавие: «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным». Стилистика заглавия распространилась здесь и на форму подачи псевдонима, который вводит в книгу элемент мистификации, ибо ни подобного «магистра», ни издателя читающий мир не знал. Но знали не однажды изданные «Сказки и повести для детей дедушки Ириней, собранные князем В. Одоевским», где мистификация приоткрывалась.

В других случаях стилизованные имена, нередко приводящие читателей в недоумение, вполне убедительно раскрываются языковыми средствами. Приведем лишь один пример. В довольно

редком издании 1904 года под названием «В чайном царстве», вышедшем с подзаголовком «Очерки жизни и нравов китайцев. (Сатирические наброски тушью)», имя автора носит явно гротескный характер. А. В. Круглов подписал книгу *На-фу-фу*, придавая псевдониму экзотический характер и псевдо-китайское звучание, он тут же жаргонным значением этого выражения подчеркивал, что перед читателем розыгрыш, мистификация. Эффект усиливала маска переводчика. Очерки якобы были переведены неким *Амфилохием Устюжанским*.

В погоне за оригинальностью некоторые беллетристы придавали литературному прозвищу иностранное звучание. Имя писалось на иностранном языке или передавалось латинскими буквами. Так и остались неизвестными те, кто спрятался за масками: *Stiva* или *Old Relater*. А. В. Амфитеатров несколько изданий подписал как *Old Gentleman*, а В. М. Лалож подписывалась *Lamentoso*. Но разве не остроумен каламбур Аверченко в псевдониме *Ave*? Доля мистификации есть и в «аристонимах» — вымышленных титулах, которые писатель присоединяет к ложному имени. Насмешка, эпатаж, шутка рождали *Барона de Tharpegohl* (Н. А. Гольденберг) и *Барона Ondit'a* (В. В. Барятинский); *Барона Гам-гю-Лонглу* (А. А. Орлов) и *Барона Ку-ка-ре-ку* (П. А. Машков). Самым знаменитым из псевдонимов «голубых кровей» стал *Барон Брамбеус* — литературная личина известного беллетриста и издателя О. И. Сенковского. Его слава даже породила литературную спекуляцию — подпись *Барон Брамбеус*.

Можно бы многое рассказать об «изысканных» псевдонимах, но пусть лучше говорит документ времени. В сатирическом журнале «Искры» встречаем письмо от... Тени Гоголя. Опять — псевдоним. На этот раз используемый для сатирического обличения авторов, самозванно вторгшихся в чужие произведения. *Тень Гоголя* высмеивала склонность к громким псевдонимам «кандидатов в бессмертные». Среди них назывался, например, литератор Л. Г. Мунштейн, он же *Lolo* и даже *Лолошка*, автор «Святого искусства», «Евгения Онегина» и «Фауста» (Искры. 1902. № 11). Имелись в виду самовольные переделки знаменитых книг.

Со временем псевдонимы стали даже обрещать зависимыми словами — отсюда и третий, синтаксический способ псевдонимобразования. Сложные конструкции в именах делали их порою неудобными, поскольку к имени автора присоединялось указание на род вымышленной деятельности, чин, социальную принадлежность и т. д. К фамилии демонстративно пристраивали существительные *солдат*, *поэт*, *рабочий*, *полковник*, *купец*. Но в читательском сознании они не приживались, вскоре отбрасывались,

и в литературе, библиографиях, каталогах эти псевдонимы употребляются лишь как фамилии. Так, на одной книге стояла подпись: *Рабочий Александр Безвестный*. Забывая о смысловом значении этого словосочетания, о писателе пишут как об Александре Безвестном или — А. Безвестном. В таких именах таится скрытый смысл, в наше время уже с трудом реконструируемый.

Два неизвестных беллетриста, эпатируя, заявили: «Я сам». В результате — литературное имя Я. Сам (Книга «„Для чего жить“ и другие рассказы»). *Хорошего понемножку* — подписывался один из авторов журнала «Стрекоза» в 1883 году. Фразеологизм *сто раз* использовал В. Г. Дерунов, превратив его в свой псевдоним *Сто-раз*. Известный народник В. Тан построил для своей литературной подписи слово *Богораз* (кстати, псевдоним так сросся с фамилией, что писатель и ученый Владимир Германович Тан более известен как Тан-Богораз), а вскоре как контрпсевдоним появился автор под именем *Черга-с-два*.

Иногда псевдоним разрастался до целого предложения: *Литературной биржи маклер Назар Вымочкин* (Н. А. Некрасов); *Не спрашивай, кто я* (А. А. Соколов); *Некрасовец — казак, в Турции жительствующий* (предположительно — О. С. Гончар); *Любитель рыться в печатном глазе* (предположительно — М. П. Розенгейм).

Количество литературных имен в русской словесности столь велико, а возможности языка столь безграничны, что охватить в кратких заметках все закономерности образования псевдонимов невозможно. Но несомненно, что языковые законы помогают не только выверить смысловые оттенки псевдонима, но и выявить условные модели его построения. В общем виде их можно назвать словообразовательными, лексическими, синтаксическими.

Большие писатели советуют: читайте словари. Последуем их совету и обратимся к «Словарю псевдонимов», составленному И. Ф. Масановым. Четыре огромных тома понадобились исследователю для перечисления писательских имен-масок. Но и это далеко не все, работа по их систематизации и расшифровке продолжается. В Библиотеке им. В. И. Ленина карточками с писательскими псевдонимами и фамилиями заполнено пятьдесят каталожных ящиков. Анализируя языковой состав вымышленных имен, поражаешься: чего здесь только не встретишь — от эпитетов до антонимов, от диалектизмов до профессионализмов, от архаизмов до неологизмов. Лингвистический арсенал псевдонимообразующих средств беспредель, и литературное имя становится не только прикрытием для автора, но и стилистически выразительным элементом книги.



О символике пьесы «Утиная охота» А. Вампилова

Е. И. Стрельцова,
кандидат искусствоведения

Театр Александра Вампилова — это театр слова, в котором непостижимым образом автор умел соединять несоединимое.

Идея пьесы, как правило, заложена в заголовке вампиловской драмы. «Утиная охота» — пьеса об *утиной охоте* (курсив здесь и далее наш. — Е. С.) прежде всего. И потом уже — пьеса о Викторе Зилове. В характере, поведении, поступках этого вампиловского персонажа можно разобраться лишь в случае, если помнить, что такое «утиная охота»? С каким кругом проблем связано это понятие? В чем различие охоты на уток и *утиной охоты*? А отличие, оказывается, есть.

Впервые слово *охота* произносится Виктором Зиловым по телефону в беседе с официантом Димой:

«Умер?.. Кто умер?.. Я!.. Да вроде бы нет... Живой вроде бы... Да?.. (Смеется.) Нет, нет, живой. Этого еще только не хватало — чтоб я умер перед самой охотой!...» (Вампилов Александр. Избранное. М., 1975. С. 154; далее цитируется это издание).

Пьеса начинается с телефонного звонка и телефонного разговора, в результате которого выясняется, что Зиллов — живой человек. В вопросе: жив он или мертв? — важную роль играет какая-то охота... Затем, опять в разговоре с Димой, слово *охота* ведет за собой слово *охотник*. А вокруг охотника — поле понятий, связанных с жизнью, смертью, сборами, волнением или покоем.

В сцене новоселья, когда друзья дарят подарки, проясняется, наконец: загадочная охота — это утиная охота.

«Саяпин развернул сверток. В нем оказались предметы охотничьего снаряжения: нож, патронташ и несколько деревянных птиц, какие на утиной охоте используются для подсадки (...)

Зиллов. Да-а. Вы правы. Утиная охота — это вещь. (Надевает патронташ, увешивает себя деревянными утками. В этом наряде он останется до конца картины.)»

Утиная охота впервые в пьесе образно предстает как прямой обман, ловушка. Понятие «утиная охота» оказывается в одном ряду со словами *убил, не попадает, стреляй...* Цепочка как бы обещает неизбежность следующего звена — слова *ружье*. Но оно возникнет лишь в начале третьей картины второго действия. И сразу же рядом, на видном месте, автор поместит телефон.

Как предмет обязательный для охотника, ружье, висящее на стене рядом с деревянными утками, появится (и на то будет авторская ремарка) после сцены, в которой Зиллов не уехал на похороны отца; окончательно предал жену Галину. Если в талантливом художественном произведении не бывает ничего случайного, то ружье у Вампилова символически сопрягается не только с охотничьими приготовлениями и охотой на уток.

С одной стороны, оно связано с темой сыновнего предательства, мирного, тихого предательства вообще, темой забвения святынь долга, памяти, чести, веры, верности, любви, — и даже самой смерти. С другой стороны, ружье в этой пьесе находится вне конкретной охоты на уток, символизируя идею смерти-итога, смерти как физического ухода из жизни.

Слово *ружье* в начале третьего действия — как бы завуалировано. Появившись в авторской ремарке, оно вновь указывает на предмет охоты: «На столе огромный рюкзак и ружье в брезентовом чехле». Более того. Как только это слово готово возникнуть в тексте, в диалоге его заменяет синоним. В сцене пьяного скандала, устроенного Зилловым в кафе «Незабудка», Валерия,

жена Саяпина, восклицает: «Ему [Зилову.— Е. С.] кажется, что он уже на болоте со своей двустволкой!»

Смысл стрельбы, попадания-непопадания, убийства (кровавый, так сказать, смысл), то есть — все, связанное с добычей, болотом, природой, отдыхом, удовольствием охоты на уток,— заключено драматургом в слове *двустволка*. Слово употреблено один раз, и конкретика охоты на уток (включая и очищение природой) автора волнует меньше всего.

Как символ предательства, нравственного самоуничтожения слово *ружье* влечет за собой в пьесе Вампилова «родственные» слова: *не верю, уходите, гони, самоубийство, берите...* Устанавливается такая цепочка смыслов (например, в сцене неудавшегося самоубийства Зилова), которая определяет атмосферу уверенности во всеобщем бесчестии, и тогда, как хозяин положения, появляется официант Дима. Ружье в его руках — игрушка. Философия официанта универсальна: «А что я могу сделать? Ничего». Дима с Зиловым пожмут друг другу руки.

Значит, человек согласился с философией предательства? Нравственное небытие как жизненное кредо признано и узаконено? Нет. И дело не только в том, что в момент рукопожатия вампиловский герой уже вспомнил, уже знал: именно Дима ударил его и скрыл это. Зилов никак не может успокоиться, не способен. Он прямо-таки заклинает себя: «Выпью-ка я еще. За то, чтоб не волноваться». Заставляет себя быть похожим на официанта — и нет! Не получается. Мажет и мажет Виктор, да и стрелять-то, как выясняется, почти не умеет. Почему же этот герой хочет успокоиться? Почему так жаждет *утиной охоты*?

Он сам выдает тайну:

«(...) Какой там туман — мы поплывем, как во сне, неизвестно куда (...) А ночь? (...) Знаешь, какая это тишина? Тебя там нет (...) Ты еще не родился. И ничего нет. И не было. И не будет...»

В тишине, в тумане — слова эти Виктор Зилов будет постоянно повторять в пьесе. Хочется ему более всего на свете окунуться в какую-то утробную тишь: будто ты еще не рождался. Не лгал, не ненавидел, не предавал, не делал ошибок, не любил, не начинал эту свою жизнь-шутку. Пустота и мрак. И нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего... И стремится Зилов к полной атрофии чувств, мыслей, действий, желаний, к бездумному равнодушию, к духовной смерти. Утиная охота — беда. Но никак этот человек не может окончательно стать копией «гиганта утиной охоты» Димы, не способен слиться со стихией, в какой царствует меткий стрелок.

Для официанта *утиная охота* и есть та среда обитания, где он чувствует себя как рыба в воде. Стихия зла и равнодушия словно заранее клеймит все и всех: мертвечина, подделка, муляж, манекен... Не забудем и тот факт, что официант именно в силу своей «философии», сосредоточенной в словах *спокойненько, аккуратненько, полное равнодушие, без нервов* — хозяин, зверь, гигант охоты.

Смыслы: *предательство, нравственное самоубийство, духовная смерть, полное равнодушие* совпадают, существовать друг без друга в вампиловском контексте не способны. Кроме того, *утиная охота* — стремление к заведомо фальшивому, выдуманному состоянию. Вспомним: деревянные, искусственные утки сразу же явились в «Утиной охоте» мертвыми: подсадка. Собственно охоты на уток в пьесе не существует. Это то, чего нет. Фикция. И тогда — фикция все, что связано с самим понятием; утиная охота — мираж, ложный идеал.

Именно об опасности ложного идеала, влияющего на человеческую жизнь, написана вампиловская пьеса. И о том, как человек понимает, что никакой второй жизни у него нет, а идеалы единственной, судьбою данной, — не шутки.

Лжеидеал, разумеется, диктует определенное поведение, стиль существования. Помимо равнодушного (все — до лампочки!) отношения к работе, друзьям, женам, родителям, он приказывает охотникам охотиться за удовольствиями. Вампилов часто опускает прилагательное *утиная*, и в пьесе вырастает образ другой «охоты» (именно в этом ряду удовольствий находит свое место одна из разновидностей «охоты» — охота на уток): погоня за женщиной, за выпивкой. Возникает новый ряд синонимов к слову *охота*: берите, хватайте, верните... Или это:

З и л о в. Можете выпить. За охоту. Предупреждаю, пить вы сегодня будете только за охоту. Исключительно.

Маленькая пауза.

К у ш а к (*осторожно*). Я понимаю, Виктор, охота это твоё хобби, но...

З и л о в (*перебивает*). Какое еще к черту хобби? Охота она и есть охота».

Погоня за чистотой оборачивается растаптыванием чистоты; попытки возврата невозвратимого — попытками осквернения последних крох надежды, лучших мгновений юности. И тогда, в мире перевернутых ценностей, синонимом слова *цветы* способно стать слово *пепельница*; а *охотник* приводит за собой *шутника, kota, алика*. Картины воспоминаний Виктора Зилова — его жизнь под влиянием лжеидеала, под знаком *утиной охоты*,

Однако эти картины — зиловское прошлое. В пьесе гораздо более важен образ героя в настоящем, то есть то, что происходит с Виктором в промежутках между ретроспекциями. Выясняется: Зилов постоянно тянется к телефонной трубке. Есть даже авторская ремарка (в начале второго действия): «Можно понять, что ему хочется поговорить». Как помним, пьеса с телефонного звонка и телефонного разговора начинается — и телефонными звонками и разговором по телефону завершается.

В «Утиной охоте» телефон противопоставлен ружью. Оба предмета показаны автором параллельно: «В этой комнате в глаза бросается ружье <...>» — «В другой комнате <...> на видном месте новенький телефон». За предметами словно бы скрыты противоборствующие смыслы, силы, схватка между которыми решит судьбу героя. Как слово *двастволка* связано с охотой на уток, так слово *ружье*, как уже говорилось, слито с понятием духовной смерти — *утиной охоты*. Телефон же для Зилова (причем для Зилова в настоящем времени, а не в воспоминаниях) — это все, что не утиная охота, не жизнь под ее знаком. Телефонная трубка — последняя нить, связывающая с людьми. Точнее: телефонный звонок — символ той подлинной жизни, в какой есть настоящие ценности, пока что неведомые Зилову идеалы.

В слово *ружье*, как отмечалось, Вампилов вложил смысл, который — вне охоты; он связан с идеей конечности жизни. В словах *раздается телефонный звонок, долго звонит телефон, телефон звонит настойчиво и долго* скрыт символический смысл, сопряженный с идеей жизни как беспокойства, жизни как серьезного дела, а не пустяка или череды прошученных, проигранных лет.

С помощью ружья и телефона решена автором сцена попытки самоубийства. Виктор нащупал большим пальцем ноги курок ружья. Осталось нажать... И в эту секунду — телефонный звонок. «Телефон звонит настойчиво и долго». Словно ворвалась и помешала смерти Зилова сама жизнь. Виктор вынужден взять трубку. Дальше — одна из ключевых, на наш взгляд, сцен.

«Он поднимается и быстро подходит к телефону. Снимает трубку. Трубка у него в одной руке, в другой — ружье.

Зилов. Да... Говорите, я вас слушаю... Говорите!.. (*Чрезвычайно взволнованно.*) Кто это?.. Послушайте, мне не до шуток...

Кто это?.. Кто звонит? Отвечайте! (*Мгновение держит трубку перед глазами, снова подносит ее к уху, затем руку с трубкой медленно опускает вниз.*)

Так с ружьем и трубкой в руках некоторое время он стоит у телефона.

Не глядя, бросает трубку мимо телефона»,

Выбор сделан: ружье.

В предфинальном эпизоде ружье, однако ж, куда-то исчезает. Оно сыграло свою роль: человек заглянул в глаза небытию, реальное напоминание о собственной смерти словно ожгло душу, заставляя по-иному, страдая глубоко и искренно, оценить каждый миг жизни как единственный. И слова звонит, звонит, звонит телефон...

А чтобы мы совершенно не сомневались, что жизнь не кончена в тридцать лет (Зилову около тридцати — *Е. С.*), Александр Вампилов рисует в финале пьесы чистую, без дождя, синюющую полоску неба за окном и свет неяркого солнца.

Три силы: жизнь — смерть — духовная смерть. Три символа: телефон — ружье — утиная охота организуют небытовой, философский план вампиловской пьесы.

Рукопожатие официанта и Зилова могло бы завершить пьесу, если была бы она о падении Виктора Зилова. Но пьеса «Утиная охота» — о возрождении героя. Символика и показывает первый, наисложнейший этап, труд воскресения. В плане бытовом финальный звонок официанту Диме — компромисс. Однако путь саморазоблачения Зиловым уже выстрадан. Такой трагический перелом, кризис, процесс, завершившийся решением довести «нравственное самоубийство» до логического финала, превратив его в самоубийство физически реальное, — не проходит бесследно.

Вампиловский герой осилил главное: *отказался от утиной охоты.*

Друзья выталкивают (в сцене попытки самоубийства), гонят его на охоту — он отказывается. Наконец, хозяин охоты рубит: «Короче. Будешь шизовать или поедешь на охоту?» И ответ: «Никуда я не поеду». Отказ от лжеидеала на пороге жизни и смерти дорогого стоит. Выбрана реальная смерть — но отвергнут суррогат жизни, мертвая зыбь прежнего существования. Только после того, как Виктор Зилов отказался от *утиной охоты*, — драматург покажет, во-первых, раскол и ошибку смыслов слова *ружье*. И во-вторых, — противоборство символов: телефон — ружье, жизнь — смерть.

Лжеидеал рухнул — другого нет. Как жить дальше без веры, без любви, в пустоте и бессмыслице? Вот трагический вопрос, какой встал перед Зиловым. И, отбирая у Виктора физическую смерть, Вампилов настаивает на том, чтоб герой продолжил бы поиск веры, любви, смысла. Автор заставляет героя жить. Почему?

Отказавшись от *утиной охоты*, Зилов берет верх над официантом. Без помощи ружья.

«Официант. Давай-ка. (Хватает Кузакова, выталкивает его за дверь.) Так будет лучше... А теперь опусти ружье.

Зилов. И ты убирайся.

*Мгновение они смотрят друг другу в глаза.
Официант отступает к двери.*

Живо».

Всего миг двое смотрели в душу друг другу. И официант сдался. Мало того, что Зилов — живой человек. Он — личность. Отказ от *утиной охоты* сделал его сильным, и официант не будет торжествовать. Опять-таки не случайно *Виктор* значит — *победитель*. Вампиловский герой одолел зло, предательство как норму, угрозу нравственной гибели. Компромисс, согласие на утиную охоту в финале — дань инерции, слабость сильнейшего. Новая встреча с Димой, которая произойдет где-то за пределами пьесы, в реальной жизни, — встреча победителя, презирающего утиную охоту, знающего ей цену, и побежденного, человека-лакея, утверждавшего агрессивную пустоту и бессмысленности жизни.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Склоняется ли грузинское имя Шота? Как сказать в родителем падеже: *Я был у Шоты* или *Я был у Шота*?»

Л. Х. Макаров, г. Цалка Груз ССР

Иноязычные мужские имена, оканчивающиеся на гласные, в русском языке не изменяются: Бруно, Кер-Оглы, Шота, Важа. Поэтому нужно говорить: *Я был у Шота, но не у Шоты*.

Правило о неизменяемости мужских имен и фамилий не распространяется на фамилии, оканчивающиеся на безударную гласную -а. В устной и письменной речи эти фамилии часто склоняются: *фильмы Куросавы, песни Окуджавы*. См. «Русская грамматика», АН СССР, «Наука», 1982.

ИЗ НАСЛЕДИЯ Андрея Платонова

Читатель имеет возможность впервые познакомиться со статьями А. П. Платонова (1899—1951): «Великая Глухая» (рукопись хранится в ЦГАЛИ, фонд 2124, оп. 1, ед. хр. 104) и «Борьба за дорогу» (рукопись находится в архиве М. А. Платоновой).

Написание «Великой Глухой» относится к концу 1930 — началу 1931 года, и, скорее всего, статья готовилась Платоновым как ответ на анкету «Какой нам нужен писатель», которую проводил журнал «На литературном посту». В этой оставшейся незавершенной работе Платонов, к тому времени уже зрелый художник, автор «Епифанских шлюзов», «Чевенгура», «Усомнившегося Макара»; «Сокровенного человека», предстает талантливым, острополюемичным критиком-публицистом. В центре статьи — мировоззренческие проблемы отображения реальной действительности в искусстве и отношение писателя к известной дискуссии о творческом методе советской литературы, которая в течение ряда лет велась внутри Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). В ней участвовали, с одной стороны, «старые» рапповцы во главе с теоретиком движения, редактором «На литературном посту» Л. Авербахом, с другой, писательская группировка «блок» («Литературный фронт»).

В статье не случайно упоминается роман Ю. Либединского «Рождение героя» (1930), который теоретики РАППа выдвигали как образец концепции «живого человека», или «психологизма», как некий эталон теории «диалектико-материалистического творческого метода» пролетарской литературы. Ходульный образ главного героя романа, ведущего партработника Степана Шорохова, который движим стремлением соединить подсознательное, стихийное и сознательное, классовое, по мнению рапповской критики, воплощал в себе «мировоззрение на практике».

Приверженцы «блока» в качестве своего образца истинно пролетарской литературы предлагали драму в стихах А. Безымен-

ского «Выстрел» (1929), выстроенную на чисто социальном, идеологическом конфликте. В этой литературной поделке, написанной на злобу дня, действовали «загримированные кулаки», «сравные уклонисты», «троцкисты», которые все оказывались вредителями и шпионами, и ударная бригада молодых бойцов.

Платонов не остается в стороне в этой борьбе мнений, но и не сталкивает две противоборствующие точки зрения, он их объединяет в понятие «Великая Глухая». Свое отношение к полемике между двумя писательскими группировками, на долгие годы осложнившей судьбу советской литературы, он высказывает не абстрактно, а исторически-конкретно и лично. Его «Великая Глухая» фактически открывает цикл платоновских статей об искусстве 30-х годов, в которых писатель и критик на самом разном материале (русская и мировая классика, фольклор и современная литература) будет со всей остротой ставить вопросы истории и современности. Проблемы культурного наследия, исторической памяти, размышления о человеке как высшей духовной ценности — все это нашло отражение в особом платоновском слове, всегда точно взвешенном, неторопливом и ладном.

И в этом смысле — культурно-историческом и языковом — статья «Борьба за дорогу» (1944) как нельзя лучше вписывается своим созидательным пафосом в творческое наследие Платонова предвоенного периода и периода Великой Отечественной войны. Конкретные события боевых операций 1943—1944 годов на юго-западном направлении приобретают у специального корреспондента «Красной Звезды», воевавшего с октября сорок второго до Победы, глубоко символический и предупреждающий смысл. Дороги России — это «маневры по безднам», это — реальность драматическая и трагическая, но это и испытание человека на человеческое: его отношение к машине и земле, к труду. В умении простых солдат сохранить и в самой «бездне» возможность слышать токи жизни — боль, страдание не только человека, но и машины, и земли, — писатель видит главный источник победы народа, высшая цель которого «созидание добра в мире».

Н. В. Корниенко,
кандидат филологических наук
Новосибирск

Великая Глухая



а временный технический недостаток — беззвучность — кино было некогда прозвано Великим немым. Этот условный образ теперь превратился в безусловный, хотя кино и заговорило, — хотя точнее следовало (...) назвать теперь наше кино Великим Слепым: оно не видит того, на что действительно нужно наводить объектив съёмочного аппарата. Кино наше слепо, как новорожденное существо, а большинство картин ничего не говорит напряженному сознанию современного человека: они немы абсолютно, а не технически.

В пару к Немому идет его Великая Глухая сестра — литература. Причем, здесь спорно основное — глухая она или оглушенная, и, если оглушенная, то чем и кем. Революция (коллективизация, МТС, крупные совхозы, создание таких маточных мест социализма как Магнитогорско-Кузнецкий комбинат и мн. др.), революция уничтожила, или уничтожает, старый способ производства литературы, потому что социалистическая, всемирная, вековая литература не может создаваться интеллигентски-парцеллярным способом. Это не значит, что писать нужно вдвоем или целым кружком, — это значит, что писатель не может далее оставаться лишь профессионалом одного своего дела: он должен вмешиваться в самое строительство, он должен стать рядовым участником его, ибо трудно в такое время [следующее слово в рукописи неразборчиво (нрзб) — Н. К.] и писать, не строя самого социалистического общества. Нам ответят: но литература тоже может стать социалистическим элементом, не за чем писателю добавочно быть монтером или кирпичным кладчиком. Это ошибочно — нельзя командировочным, зрительным, сторонним путем приобрести [необходимые для работы] социалистические чувства: эти чувства рождаются не из наблюдения или даже изучения, а из участия, из личного, тесного, кровного опыта, из прямой производственной социалистической работы. Конечно, здесь есть противоречие — трудно практически совместить две напряженные работы, скажем, писателя и механика. Но быть писателем во время

устройства социализма, ощущая социализм лишь профессиональными чувствами, а не вживаясь в него производственно, [т. сказать — вписано сверху, далее — (прзб) — Н. К.] опытом рук, — в то время, когда и для самых передовых участников социалистического зодчества социализм является лишь в форме предчувствия, — быть только писателем в это время — есть еще большее противоречие и наглость (потому что, если лучший передний строитель социализма имеет лишь предчувствие о нем, то как же писатель, этот задний строитель, может иметь ясные, ведущие чувства к нашему близкому будущему!).

Прошлое литературы подтверждает этот взгляд. Если раньше писатель мог и не быть пахарем при феодализме или монтером при капитализме, то это потому, что сильнейшие писатели прошлого времени появились тогда, когда мироощущение их родного класса стало привычкой и традицией.

Только ломая стену в переднем ряду можно первым увидеть то, что лежит открытым за стеной. Находясь же позади, никогда не услышишь первым ветра социализма. И верно — литература его слышит очень слабо, поэтому она работает как глухая; она оглушена, стало быть, самым ложно-профессиональным, «дореволюционным» положением своих кадров. Кроме того, этим кадрам плохо помогают литературные инструктора и надсмотрщики. Вместо обучения, эти мастера рвут иногда писателя «за ухо», а он и так почти глухой. На самом же деле нужна учеба, а не безответная боль ученика.

Но оглушение иногда происходит и по другой причине. А именно — от излишнего оглашения («Рождение героя» и «Выстрел»). В сущности разница между этими произведениями(ми) слабая и кажущаяся. Они напечатаны на двух сторонах одной монеты, как нигилизм и гуманизм (совершенно правильная и диалектическая фраза т. Авербаха). В первом произведении непонятно, почему герои не действуют, а во втором (т. е. в «Выстреле») почему они<...>

<...> Если ты начальник, то тебе открыты ворота самой молодой и свежей любви, а если ты не начальник, то уважай одних старух.

Но Шорохов ведь коммунист! Да, но это только Либединский так убежден; иной же читатель может убедиться лишь в том, что Шорохов бюрократ, эксплуатирующий массы посредством изъятия из нее девушек, а в массе могут остаться одни инвалиды и старухи (ведь «Шорохов» быстро обобществляется со знакомыми «начальниками», действующими зачастую не лучше).

Социальная вредность «Выстрела» не так ясна, — но это по-

тому, что в «Выстреле» нет населения, хотя в последнем и есть как раз его вредность. Место, населенное одними идеями и мероприятиями, — не есть социалистическое место; бесчувственная идеологическая упитанность, сама по себе, не может сотворить нового мира. Идеологическая оглашенность (политический эквивалент ее — «левачество») ведет к простой художественной глухоте, иначе говоря — к производству лживых звуков (чтобы иметь «слух», надо уметь постоянно слышать других, даже когда сам говоришь, — надо иметь неослабный корректив своим чувствам в массах людей).

Эти два сочинения явились видимой причиной борьбы внутри РАППа — борьбы за метод пролетлитературы. Но теоретически изобрести метод нельзя (до него можно доработаться, и то будучи вдаль, в глубине социализма, а не внутри «методической» борьбы); санкционировать же единственный метод (даже приблизительно правильный) — вредно, если не губительно. И потом — художественный метод не может быть одним: он не политика; у искусства есть свои местные конкретные условия, требующие применения своеобразных методов.

За кем же идти — за «старыми» рапповцами или за «блоком»?

Борьба за дорогу



з дыма пожарища, занявшегося на железнодорожной станции от бомбардировщика с воздуха, выходит паровоз с грузным составом и следует по своему назначению — как в обычный рейс. В пути поезд может снова перетерпеть нападение воздушного врага и даже сразиться с ним, если на нем есть защитные средства, но он будет продолжать свой путь. Под Тихвином в 1941 году была чрезвычайно редкая битва нашего паровоза, вооруженного зенитным пулеметом, с немецким самолетом: самолет был сбит после получасового боя, причем обе стороны маневрировали (паровоз посредством резкого изменения скорости движения); а после боя наш паровоз продолжал тянуть полногрузный состав как в нормальных условиях.

Таких картин и образцов мужества железнодорожников можно привести много,

Железные дороги в Отечественную войну показали свою живучесть. Громоздкость, протяженность в пространстве, стабильность материального устройства железнодорожного транспорта увеличивают уязвимость железных дорог и уменьшают их живучесть. Но великий, отважный, изобретательный труд рабочих и искусная организация дела восстановления и эксплуатации железных дорог сводят на нет их уязвимость и обеспечивают их работоспособную живучесть.

В конкретных условиях осени, зимы и весны 1943—1944 годов значение железнодорожного транспорта еще более возросло и стало прямо решающим для исхода военных операций, больших и малых. Оттепель, избыток влаги в почве превратили пространства сражений и подходы к ним в вязкую, всасывающую массу, почти непреодолимую для машин. Грузовики и тягачи, танки и самоходные орудия перенапрягали свои моторы, изнашивали ходовые механизмы и зачастую в бессилии погружались в почву — прежде чем они достигали места назначения и поля битвы. Даже авиация лишь с трудом несла свою службу, потому что для авиации, кроме воздуха, нужна почва, а «почвы нет», как говорят летчики, — то есть трудно сесть на вязкий полевой аэродром и еще труднее благополучно взлететь с него.

Снова, как встарь, на полях войны появилась конная подвода, как транспортное средство, а на ближних концах стала применяться ручная переноска грузов и боеприпасов.

Почвы не стало — это значит каждый метр земли нужно проезжать, а форсировать его. Вся земля, вся ее сверху ровная и покатая грудь стала рубежом и преградой. Вступили в действие уменьье, выучка, трудоспособность и изобретательность солдата. Наш народ, прошедший до войны школу великого строительства, школу творческого труда, наученный искусству работы на машинах, использовал свое уменьье и выучку на войне. В этом состоит одна из основных причин боевого успеха нашего солдата и офицера: именно в том, что они являются людьми искусного труда, задолго до войны полюбившими машину, знающими любую работу, закаленными прежде в титанической созидательной работе, а теперь лишь продолжающими созидание добра в мире, посредством битвы с противником, посредством сокрушения его злодейской силы.

Бой теперь состоит, может быть, лишь на одну десятую из огня и на девять десятых из труда, подготовившего бой. Поэтому нынешняя война является как бы соревнованием мастерства нашей рабочей страны с подневольным рабским трудом Германии.

И то, что уже полгода как «нет почвы», по которой, однако,

надо двигаться вперед и по которой наступает Красная Армия,— это потребовало от красноармейцев и рабочего героизма, в добавление к боевому.

Разверзшаяся, поглощающая силы людей земля, естественно, меняет характер войны. И прежде, и всегда дороги во многом определяли тактику операций. Ныне же, посреди почти непроходимой земли, транспорт, может быть, решает все, и особенно ж. д. транспорт, так как он менее зависим от условий погоды.

К 1-му марта на наших украинских фронтах создалась особая обстановка. Наши войска подошли к первоклассной рокадной ж. д. магистрали, находившейся в эксплуатации немцев — к ж. д. линии, идущей из глубины тылов противника, со стороны Станиславова и Львова, к Тарнополю, затем на Волочисск, Черный Остров, Проскуров, Жмеринку и далее по большой дуге нисходящей к югу, к Одессе. Южнее этой линии есть еще железные дороги, но они не имеют стратегической ценности в соответствии со сложившейся военной обстановкой на правобережной Украине, они по своим направлениям и протяженности не отвечают интересам маневренной системы обороны немцев.

Вся большая группа дивизий немцев, в которой много отборных боевых частей, расквартированная по правобережью нижнего Днестра и на юг до Черного моря, и на запад — к Виннице, Проскурову, Тарнополю, — снабжается главным образом лишь рокадой Тарнополь — Жмеринка — Вапнярка — Одесса. В тылу у этой многочисленной группировки немецких войск нет второй такой же дороги, способной вынести нагрузку для обеспечения боевой деятельности десятков дивизий — с одной стороны, и для вывозки хлеба, людей и награбленного добра — с другой.

Позади этой большой железной дороги — т. е. на юг и на юго-запад от нее — уже невадалеке от нее находятся пределы Румынии.

Немецкое командование с расчетливой ясностью усвоило себе ценность этой дороги, как основного трубопровода, по которому происходит питание главных германских сил, дерущихся на восточном фронте. Если рокада Тарнополь — Жмеринка — Одесса будет утрачена или перерезана, то положение германских войск станет столь серьезным, что его, это положение, можно уже определить как трагическое.

К исходу февраля и началу марта начались битвы за главную железную дорогу на нашем юго-западе. Германское командование стало использовать и самую железную дорогу, как средство обороны. В насыпях немцы устроили огневые точки и превратили ж. д. полотно в укрепленные рубежи. Станции с развитой

сетью путей и особенно железнодорожные узлы, где много соединительных и тракционных путей, немцы использовали для действия бронепоездов, которые могли достаточно свободно маневрировать на развитых местных путях. Для боевой работы с открытыми линиями они оборудовали дрезины, поставив на них тяжелые пулеметы.

Шестого марта по рокаде был нанесен с нашей стороны тяжелейший удар — и наши войска перерезали дорогу на участке Тарнополь — Проскуров. Превосходство советского маневра заключалось в его внезапности, решительности и обеспеченности людьми, машинами и огнем; вместе с тем эта операция рассчитывала на проверенные качества наших людей и машин, способных форсировать бездорожье, чтобы явиться перед противником из самой бездны и, не устав от перехода через бездну, сразить врага.

Запас моральных и физических сил у советского солдата, позволяющий успешно осуществлять «маневры по безднам», очень велик.

Когда мы спросили у сержанта Корнеева — как выносят наши машины бездорожье, это жидкое чрево земли, — сержант ответил:

— Машины терпят! А когда не терпят, мы им отдых даем.

— Какой отдых?

— А когда мы их на руках и на вагах перевозакиваем через пучины, то они тогда отдыхают, они тогда маломощные...

— А вы?..

— А мы ничего, нам отдыхать некогда, у нас работа большая — нам неприятеля надо скорее одолеть: не век с ним жить у переднего края. Солдат тоже хочет поле пахать!

Корнеев поглядел в густую вязкую землю, которая мучила его, как солдата, и он сказал о ней, как добрый крестьянин:

— Тучна наша земля! Цены ей нету — век можно на ней смирно жить и кормиться, и детей своих можно ей свободно доверить: она их тоже прокормит!..

Мы попрощались с этим великим русским солдатом.

Последующими ударами наши части перерезали железнодорожную магистраль еще в двух местах. Общая протяженность перехваченных участков достигла семидесяти (70) километров. Снабжение немецких дивизий, расположенных восточнее и юго-восточнее мест перехвата, было нарушено; им стало угрожать истощение прежде поражения на полях битв; немецкие транспорты были обречены на дальние кружные пути и на бездорожье.

Вскоре же наши войска перерезают рокаду в районе станции Вапнярка и сейчас ведут бой у Жмеринки.

Немцы, возможно, понимали полностью всю грозную опасность для своих войск меж нижним Днестром и Днестром, но одного понимания еще мало, чтобы успешно сопротивляться Красной Армии. Противник начал в быстром темпе подводить на угрожаемые направления резервы, снимая их с других участков фронта. Например, части одной танковой дивизии явились под Проскуров с Уманьского направления. Для обороны той же рокады, для усиления узлов сопротивления и защиты городов, расположенных на магистрали, неприятель спешно маневрирует резервами; резервами их можно назвать условно — это в большинстве передовые части, перемещенные с других направлений. Особенно противник усилил свою группу войск на Проскуровском направлении. Сюда противник за короткий срок перебросил новые пехотные и танковые дивизии, в том числе танковую дивизию СС «Райх». На этом направлении и по сей час длятся жестокие бои.

Всеми средствами противник стремится также удержать контратаками Тарнополь. Несколько ранее противнику, не пожалевшему своей техники и своих солдат, удалось захватить у нас обратно Волочиск. Но тут же он был выбит из него, и положение было восстановлено в нашу пользу.

Все эти пункты лежат по рокаде. Неприятелю жизненно необходима эта железнодорожная магистраль, потому что без нее тьма хаоса сразу приблизится к нему и ему придется для спасения от гибели совершить большой отход назад — уже в пределы земель своих вассалов и покоренных стран. А спастись господину в жилище своего пленника нельзя, и еще опаснее спастись ему у своего меньшого подручного хищника.

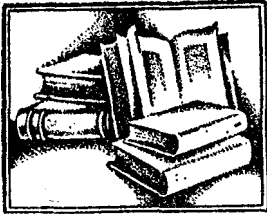
Немцы этого конечно не хотят. Но уже давно можно заметить, что, желая выиграть немного времени для обороны в одном месте, они вынуждены терять много пространства на другом направлении. Так, ведя ожесточенное сопротивление под Проскуровом и обороняя Тарнополь, наш противник не в силах одновременно жестко и твердо защищать Винницу и Жмеринку.

Бои за железнодорожную рокаду еще продолжаются, но она уже прочно перехвачена нами во многих местах. В борьбе за эту важнейшую дорогу и состоит ведущий смысл многих боев, которые велись за последние две недели от Тарнополя до Вапнярки, и еще ведутся. Но дальнейшие события уже ясны: нашим оружием немцам предречено новое отступление, причем — отступление прыжком, сразу на многие десятки километров на запад.

Публикация М. А. Платоновой

По страницам «Орфоэпического словаря»

С. Н. Борунова



В советской лексикографии существуют только три словаря-справочника, специально рассматривающих вопросы произносительной нормы. Около четверти столетия отделяет «Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы» (1983) под редакцией Р. И. Аванесова

от двух его предшественников – словарей-справочников «Русское литературное ударение и произношение» (1955) и «Русское литературное произношение и ударение» (1959) под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. Все три словаря подготовлены в Институте русского языка АН СССР.

«Орфоэпический словарь» делался на основе словаря-справочника 1959 года, словник которого пересмотрен и значительно расширен, в частности и за счет слов, в которых есть произносительные трудности. И хотя круг рассматриваемых произносительных явлений остался почти тот же, содержательно новый словарь отличается от предшествующих весьма существенно. Это объясняется не только тем, что уточнена норма, но также и тем, что изменилось понимание задач нормализации и отношение к вариантности. Л. В. Щерба в работе «Опыт общей теории лексикографии» (1940) писал: «...хороший нормативный словарь не придумывает нормы, а описывает ту, которая существует в языке...».

Если в справочниках 1955 и 1959 гг. только в редких случаях давались допустимые или равноправные варианты произношения, то «Орфоэпический словарь» стремится отразить реально существующие варианты нормы и достаточно распространенные отклонения от нее, давая им соответствующую квалификацию. Вариантность признается закономерным явлением, возникающим в процессе языкового развития: старая традиционная норма отмирает не сразу – проходит период сосуществования ее с новой нормой, соответствующей тенденциям развития фонетического явления,

Изменчивость нормы, ее динамический характер отражены в словаре с помощью системы помет. В словаре 1983 г. проведена более тонкая, чем в справочнике 1959-го, градация внутри нормативных и ненормативных помет. Больше распространение получают равноправные и допустимые варианты нормы, отмечаются допустимые устаревающие (доп. устар.): *сливо[ш]ный, кори[ш]невый*, не рекомендуемые (не рек.): [тэ]рмин, [дэ]магог, [дэ]мисезонный; не рекомендуемые устаревающие (не рек. устар.): *но[х]ги, ко[х]ги, ко[һ]да*, неправильные (неправ.): *афёра, атлёт, блёф, слёжка* вместо *афёра, атлёт, блеф, слэжка*; *дермантин, подчерк, инцидент, константировать, прецедент, компроментировать* с вставным согласным *н* вместо *дерматин, почерк, инцидент, констатировать, прецедент, компрометировать*; *друшлаг* вместо *дуршлаг, ши[нэ]ль, пио[нэ]р* вместо *ши[не]ль, пио[не]р*. Появилась стилистическая помета «факультативно» (*факульт.*). Она характеризует, как необязательное, произношение гласных в безударных слогах заимствованных слов без качественных изменений [боле]рб, [со]нёт, баро́кк[о], [че]лэста, [ча]ко́на. Такое произношение уместно в строгих, книжных типах речи.

Круг слов и явлений, сопровождаемый запретительными пометами, изменился по сравнению со словарем 1959 г. Помета *неправ.* дается, например, при бытовых словах и общественно-политических терминах на *-изм* с распространенной ошибкой — мягким произношением (зь): *ревмати[зь]м, социали[зь]м, коммуни[зь]м*. В то же время некоторые запретительные пометы сняты, так как ошибки не характерны для современного носителя языка: у слов *сигарета, сирена* теперь отсутствует помета [не рэ], *сквер* — [не вэ], *картотека, теория* — [не тэ], *метод* — [не мэ], *портфель* — [не фэ], *манеж, манекен, нейтральный* — [не пэ] и т. д.

Иногда запрещавшийся ранее вариант может быть признан литературной нормой. Так, в справочнике 1959 г. запрещалось твердое произношение согласных перед *е* в словах *артерия, артезианский, претензия, критерий, бандероль* и др. В «Орфоэпическом словаре» твердое произношение в этих словах признается вариантом литературной нормы, допустимым или даже предпочтительным: *артерия* [тэ и доп. те], *артезианский* [доп. тэ], *претензия* [доп. тэ], *критерий* [тэ и доп. те], *бандероль* [нъде и доп. ндэ].

Вообще же произношение согласных перед *е* является одним из наиболее острых вопросов нормализации. Поскольку в самой системе языка нет никаких ограничений как для твердого, так и мягкого вариантов в заимствованиях, каждое слово имеет свою судьбу, и рекомендации для них индивидуальны. Для ряда слов сложилась определенная традиция произнесения, которая не всег-

да соотносится с общим положением, сводящимся к тому, что в наиболее освоенных бытовых словах произносятся мягкие согласные, а в редких, неосвоенных — твердые. В языке много употребительных слов, произносимых с твердым согласным: *сви[тэ]р*, *сар-[дэ]лька*, *а[тэ]лье*, *ка[фэ]*, *кафе[тэ]рий*, *[тэ]ннис*, *про[тэ]з*, *син-[тэ]тика*, *метрополи[тэ]н*, *пю[рэ]*, *ша[тэ]н*, и в то же время специальных слов, имеющих мягкое произношение: *корректурa*, *режиссер*, *реклама*, *барельеф*, *неологизм*, *тема*, *термин*. Если для слов *одеколон*, *бухгалтер*, *текстиль*, *пионер*, *текст*, *музей*, *конкретный*, *резерв*, *фанера*, *беж*, *декламация*, *редукция*, *рейтузы* неправильно твердое произношение, то другим, наоборот, противопоставлен мягкий согласный: *синтетика*, *кафе*.

В связи с широкой распространенностью твердых согласных перед *e*, для ряда слов на данном этапе языкового развития можно признать правильным наличие равноправных вариантов: *терпевет* [тэ и те], *крем* [рэ и ре], *бассейн* [сэ и се]; допустимых или предпочтительных: *стратегия* [доп. тэ], *аннексия* [нэ и доп. не].

В справочнике 1959 г., на наш взгляд, неправомерно рекомендовалось произношение слов *белёсый*, *блёклый*, *манёвр*, *жёлчь* и некоторых других только с ударным гласным [о], а с [е] — *белесый*, *блеклый*, *маневр*, *желчь* — признавалось неправильным. Такая квалификация вариантов была поддержана некоторыми другими современными словарями. В «Орфоэпическом словаре» в этих случаях оба варианта считаются нормативными: *белёсый* и доп. *белесый*, *блёклый* и доп. *блеклый*, *манёвр* и доп. *маневр*, *желчь* и доп. *жёлчь*. Произношение рассматриваемых слов с [е] отражают не только словари XVIII и XIX вв., когда это была литературная норма, а [о] считалось простонародным, но и словари XX века. В Толковом словаре под ред. Д. Н. Ушакова даны варианты *манёвр* и *маневр*, в академическом 17-томном — *белесый* и *белёсый* и т. д. Как показал опрос информантов, колебания в этих словах характерны для современного языка.

Иную интерпретацию, чем в справочнике 1959 г., получило в «Орфоэпическом словаре» и произношение гласных в заимствованиях. Литературное произношение в целом характеризуется аканьем, то есть на месте *o* и *a* в безударном положении произносятся одни и те же звуки: *водá* и *травá*, *водяно́й* и *травяно́й*. Однако в некоторых заимствованиях гласный [о] может сохраняться в безударных словах. В дореволюционную эпоху в речи дворянской интеллигенции встречалось больше слов с таким [о]: *концерт*, *рояль*, *адвокат*, *аромат*, *бокал*, *костюм* и т. д. В справочнике 1959 г. при ~~всех~~ этих словах ранее стояла запретительная помета: [не ко],

[не ро] и т. д. В «Орфоэпическом словаре» она снята, так как это манерно-книжное, подчеркнуто «образованное» произношение, «особым» образом характеризую говорящего, стоит в ином ряду, чем ошибочное, неправильное.

В других случаях [о] в безударных слогах носит стилистический характер. Оно сохраняется в лексике, относящейся к политике, искусству (в музыкальных, архитектурных терминах), придавая тексту высокую торжественную окраску. Чаще всего это необязательная особенность того или иного слова: *соло, аллегро, рококо, кредо*. Круг таких слов уточнен и расширен, они снабжены пометой *факульт.*, а в справочнике 1959 г. при них была помета *доп.:* *сонет* [доп. со], что показывало меньшую желательность высокого произношения. Для слов на *-ю, -аю* это единственно возможное нормативное произношение: *адъжо, каприччио, арпеджио, сольфеджио, радио, какао*. Сюда же относятся слова редкие, выходящие из употребления, так и не обрусевшие, не освоенные русским языком: *бильбокэ, бонто́н, бонвива́н, бомбо́д, бомбо́.* В некоторых заимствованиях в соответствии с современной литературной нормой в книжных типах речи могут качественно не изменяться в безударных слогах и звуки на месте букв *а* и *е*: *чарльсто́н, шеддэ́вр, бейсбо́л, дýче, белька́нто, бемба́ль, инженерю́* и т. д.

Для ряда явлений пометы учитывают возрастную норму. Люди разных поколений могут быть носителями разных вариантов нормы. Это касается, в частности, смягчения согласных перед мягкими согласными. Утрата мягкости — живой процесс в современном литературном языке, но происходит он неодинаково в разных группах согласных. Так, сохранилась она в сочетаниях *нч, нщ, нт, нд, ст, зд, сн, зн*: *по[нь]чик, же[нь]щина, ба[нь]тик, кома[нь]дир, ко[сь]ть, зво[зь]дей, пе[сь]ня, жи[зь]нь*. Но другие сочетания, например *св, зв, тв, дв, сл, зл, см, зм*, не требуют в современном языке даже в корне слова неукоснительного смягчения первого согласного перед мягким соседом. Поэтому одинаково правильно *[сь]вет* и *[с]вет*, *[зь]верь* и *[з]верь*, *[ть]вердый* и *[т]вердый*, *[сь]лед* и *[с]лед*, *[зь]милъ* и *[з]милъ*, *[сь]мех* и *[с]мех*, *[зь]мей* и *[з]мей*. Но мягкое произношение более свойственно старшему поколению носителей литературного языка. В «Орфоэпическом словаре» учитываются оба варианта нормы, а в справочнике 1959 г. отражен только мягкий вариант.

В сочетаниях *нс, нз* процесс отвердения носит избирательный характер, он захватил не все слова в одинаковой степени; только мягкость рекомендуется в широко употребительных словах: *пе[нь]сия, реце[нь]зия, прете[нь]зия, горте[нь]зия*. Твердый [н] здесь был бы неправильным; однако в других случаях соответ-

ствуют норме и мягкий и твердый вариант: *во[нь]зигь* и *во[н]зигь*, *бе[нь]зин* и *бе[н]зин*, а для ряда недостаточно освоенных заимствований или терминов (как и в словаре 1959 г.) признается правильным твердое произношение: *консистерия*, *консилиум*. Введены новые слова с такой рекомендацией: *дансинг-холл*, *транзистор*, *тонзиллит* и др.

Авторами ставилась также задача учесть произношение всех форм слова, а не только тех, которые даны в связи с грамматическими сведениями: например, отмечается смягчение согласного перед мягким согласным в косвенных падежах существительных (*весне* [сьнь]), в кратких формах и сравнительной степени прилагательных (*честен* [сьть], *яснее* [сьнь]), в глаголах прошедшего времени множественного числа (*ползли* [доп. зль]).

В словаре не отражено устаревшее старомосковское произношение [жы⁹]ра, [шы⁹]ги (современное [жа]ра, [ша]ги). Но в ряде слов [ы⁹] и для современного русского языка является единственной литературной нормой, например: *жалеть*, *жакет*, *жалейка*, *ржаной*, *жасмин*, *лошадей*, *двадцати*. Их состав почти не изменился по сравнению со словарем 1959 г. Встречающееся иногда старомосковское произношение [х] на месте букв *к* и *г* или звонкого фрикативного звука на месте *г* перед звуками [т] и [д] характеризуется как не рекомендуемое устаревающее: *когти* (не рек. устар. *ко[х]ти*), *дегтя* (не рек. устар. *де[х]тя*), *ногти* (не рек. устар. *но[х]ти*), *когда* (не рек. устар. *ко[х]да*). Однако в словах *легкий*, *мягкий*, *легче*, *мягче* традиционное произношение сохранилось, *г* заменяется перед *к* и *ч* на [х]: *ле[хъ]кий*, *мя[хъ]кий*, *ле[х]че*, *мя[х]че*, но такая же замена в слове *тягчайший* является ошибкой (неправ. *тя[х]чайший*).

На месте орфографического сочетания *чн* в старомосковском произношении в значительно большем числе общеупотребительных слов звучало [шн], если сохранение *ч* в этом сочетании не поддерживалось родственными образованиями со звуком [ч]: *дача* — *дачный*. В словах же книжного происхождения [чн] произошло всегда: *прочный*, *алчный*, *вечный*. В современном языке происходит утрата произношения [шн]. В «Орфоэпическом словаре» разграничиваются слова с обязательным традиционным [шн]: *коне[ш]но*, *ску[ш]но*, *яи[ш]ница*, *пустя[ш]ный*, *скворе[ш]ник*, *горчи[ш]ник*, *праче[ш]ная*, и с вариантным: *булочная* [шн и доп. чн], *двоечник* [шнь и доп. чнь], *сливочный* [доп. устар. шн]. Для термина *шапочный* (*шапочное производство*) дается [доп. устар. шн], но во фразеологизмах *к шапочному разбору*, *шапочное знакомство* закрепилось [шн]. В слове *молочница* в значении «бо-

лезнь» уместно [ч], а *молочница* «женщина, торгующая молоком» — предпочтительно [ш] помета [шнь и доп. чнь]).

В «Орфоэпическом словаре» уточнялись нормативные рекомендации, связанные с вариантностью слов. При наличии вариантов, свойственных современному языку, они оба отмечались в словаре или указывался употребительный: *дочерний*, *иногородний* и доп. устар. *иногородный*, *междугородный* и доп. *междугородний*, *дискутировать* и доп. *дискуссировать*, *будничный* и доп. *буднишний*. В ряде случаев рекомендации изменились по сравнению со справочником 1959 г., ср.: *междугородный* [не *междугородний*], *иногородный* [не *иногородный*], *дискутировать* и *дискуссировать*.

К словарю, как и к предшествующим изданиям, прилагается теоретическая статья Р. И. Аванесова «Сведения о произношении и ударении», в которой при характеристике того или иного фонетического явления учтены конкретные изменения в рекомендациях нового словаря. В статье описаны правила чтения, а также некоторые особенности произношения, связанные с различием книжного и обиходно-разговорного стилей, и некоторые старомосковские нормы, не нашедшие отражения в словаре.

Таким образом, при работе над «Орфоэпическим словарем», учитывая развитие, изменчивость нормы, авторы стремились точнее отразить объективно существующую современную произносительную норму.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Уважаемая редакция! Мы часто читаем в прессе о мотоциклистах-рокерах. Откуда это слово пришло в русский язык?».

А. А. Мерзликин, *Москва*

Слово *рôккер* (*рокер*) пришло к нам из шведского языка. В Швеции группы мотоциклистов, бросающих вызов обществу нарушением правил движения, называют *gaggar*. В процессе освоения русским языком слово претерпело некоторые фонетические изменения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов «Новые слова и значения», изданный в 1984 г., отмечает, что в русском языке сосуществуют варианты: *ра́ггары*, *рôггеры*, *рôккеры*. Сейчас уже можно утверждать, что последний вариант — *роккеры* (*рокеры*) — оказался наиболее распространенным.

От «Дамского журнала» к «Женскому календарю»

О. Л. Дмитриева,
кандидат филологических наук

Употребление прилагательных *женский* и *дамский* в русском языке тесно связано со смысловыми и стилистическими различиями слов *женщина* и *дама*. Оттенки их современного значения и восприятие носителями языка сложились под воздействием языковых факторов. В прошлом употребление слов *женщина* и *дама* было социально различным. Женщина — представитель демократических слоев общества, а дама — из высших, привилегированных. Вот что написано в журнале «Женский вестник»: «Каждую больную навещают две посетительницы: почетный член общества — дама из высшего круга и действительный член — женщина-работница» (1904. № 3); «В Токио учреждено общество дам высшего японского света для распространения образования среди женщин низших и средних слоев народа» (1905. № 6).

В контекстах, более социально заостренных, сопоставление слов *дама* и *женщина* воплощало классовое неравенство: «...женщина рабочего класса с ненавистью и презрением относится к женщине другого, более обеспеченного класса, не иначе называя ее как „дамою“» (Женское дело. 1898. Кн. 2); «Помните, Писарев сказал: — Есть женщины и „дамы“... Они, эти „дамы“ и профанируют, разменивают задачи женского движения...» (Женская жизнь. 1915. № 22). Сопоставление социальных смыслов иногда обостряется, обуславливает их почти антонимическое употребле-

ние: «Впрочем, говоря так, я говорю про русскую женщину, а не про тех чувствительных дам, которые кормили турок конфетами» (Достоевский. Дневник писателя); «Знал ты русских дам, а русских женщин — нет!» (Сейфуллина. Четыре главы).

Дамы в отличие от «просто женщин» имели *дамских портных* и *парикмахеров*, для них



строили *дамские залы и дамские салоны*. Для этих же дам в конце XIX — начале XX века издавались многочисленные журналы: «Дамский журнал», «Дамский вестник», «Дамский мир». «Дамский листок» активно рекламировал папиросы «Для дам», прием заказов шляпок в магазине «Дамское счастье», прически в исполнении дамских мастеров (1910. № 1). Именно за «дамой» был закреплен набор социально обусловленных атрибутов внешнего облика и быта: «В саду почти никого нет; какой-то пожилой господин ходит проворно: очевидно, совершает моцион для здоровья, да две.. не дамы, а женщины, нянька с двумя озябшими до синевы в лице детьми» (Гончаров. Обломов); «По виду не всех разберешь, но это, барыня, не простая жепщина, а дама, в красивой шляпе, напудренная» (Женская жизнь. 1916. № 9—10).

Слово *дама* в контекстах, не выражающих его социального содержания, бывало наполнено негативными характеристиками — «несерьезный, пустой»: «...мужская масса в России в один век развилась, выросла, дала мировых гениев, а дама, как была дамой, так и осталась. Мы по-прежнему видим ее нежным, хрупким созданием, с тем же декольте, с тем же культом любви и лени. Удивительно сохранилась!» (Женская жизнь. 1915. № 20). Уже в конце XIX века допускалось его ироническое употребление: «Вот идет молодая дама, любезная и галантерейная...» (Женский вестник. 1904. № 20).

Стилистическая интенсивность существительного *дама* передавалась прилагательному *дамский*, также несущему эмоциональные оценочные характеристики этического порядка: «Дай бог только, чтобы при выработке учебных планов для этих курсов отнеслись бы к делу намного серьезнее и не создали бы здесь, вместо настоящей, особую „дамскую“ науку» (Женское образование. 1876. № 9); «Мелочность считается специально „дамским“ качеством» (Женский вестник. 1905. № 5).

Дальнейшее становление и укрепление смысловых и стилистических отношений в паре слов *дама — женщина* активизировалось и хронологически совпало с революционной демократизацией жизни в России. В 1910 году журнал «Дамский листок» с сожалением, но пророчески констатировал: «Дама. Милая, кокетливая, обворожительная дама...



вдруг исчезла, появилась „женщина“. И мы поднимаем знамя с лозунгом „Свободная женщина“» (№ 1).

Послереволюционное употребление слов *дама* и *женщина* по-прежнему окрашено широким спектром оттенков значений, каждый из которых высвечивается в определенном контексте. Так, неравноценность сопоставляемых слов, как и в прошлом, реализуется в направлении социального разграничения, еще более обостренного классовыми антагонизмами эпохи: «Отстранить буржуазных дам, совершенно не заинтересованных изменять тяжелое положение женщин-работниц» (Красная сибирячка. 1923. № 6—8); «Это ведь просвещенная „демократия“ выдавила такую жалкую гримасу как феминизм, внушая миру мысль, что-де у буржуазных дам и женщин-пролетарок одинаковые интересы» (Работница. 1984. № 11).

В послеоктябрьский период в слове *женщина* появляется пона высокому стилистического звучания. Особенно она ощутима в поэтическом контексте: «...в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла» (Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»). Та же тональность в военной публицистике: «Слова „оборона Ленинграда“ сейчас неотделимы от слова „женщина“» (Работница. 1941. № 34); «И мы представляем себе Родину женщиной, матерью, в этом наша любовь и доверие к женщине, к ее большому сердцу» (Работница. 1944. № 10—11).

Напротив, иным содержанием наполнены слова *дама*, *дамский*: «Не правда ли, все эти поиски „дамского счастья“ в современной прозе зачастую являют „...не пройденный нами этап“, а „утраченный нами секрет“» (Лит. газета. 1986. 15 янв.). Вспомним также реплики из устной речи: *дамские принципы*, *дамские разговоры*, *дамский фильм*. Ирония обнаруживается и в производных словах от *дама*: «Энергичные, прямо скажем, особы, и С. Есин находит таким „дамочкам“ меткое определение — „щучки“» (Лит. газета. 1985. 16 янв.).

В разных этических и эстетических тональностях звучит сопоставляемая пара *дама* — *женщина* с установкой на личные и внешние характеристики: «Примерно на такой же веранде я впервые увидел жену Бунина — Веру Николаевну Муромцеву, молодую, красивую женщину — не даму, а именно женщину, — высокую с лицом камеи, гладко причесанную блондинку с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже, вернее, голубоокою, одетую, как курсистка, московскую неяркую красавицу...» (Катаев. Трава забвения). В подтексте здесь за внешними чертами — индивидуальность и естественность красоты интеллигент-

ной женщины без подразумеваемой «дамской» претенциозности.

Яркое социальное клеймо, указывающее в прошлом на причастность к аристократическому и состоятельному кругу, обусловило и сочетаемость слова *дама*. Оно сохранилось, пожалуй, лишь в «Стихах о Прекрасной Даме», этикетных формулах *дамы и господа, дамы приглашают кавалеров, устойчивых оборотах дамы в ранге обретающиеся, придворные дамы и дамы светские, дамы-благотворительницы и классные дамы*. В современном языке эти сочетания имеют экспрессивную и стилистическую оценку. Пометой «шутливое» сопровождается сочетание *дама сердца* в ряду многочисленных и разнообразных синонимов к слову *любимая*. В приведенных сочетаниях слово *дама* несет определенный колорит, который неизбежно утратится при замене его словом *женщина*. А вот устойчивые сочетания последних десятилетий, в которых, напротив, невозможна замена: *современная женщина, деловая женщина, эмансипированная женщина*.

У противоположных оттенков значений, которые были показаны в приведенных контекстах, есть и нейтральный фон употребления. В частности, терминология моды на равных стилистических правах включает определения *женский* и *дамский*: «Специалисты, которые пытаются проанализировать современную женскую моду, выделяют в ней четыре основных стиля: мужской, женственный, или дамский, спортивный и авангард» (Работница. 1986. № 1). В сфере быта наметилось снижение употребительности определений *дамский*. Так, еще в 30—40-х годах XX века были часты сочетания с этим словом: «Забракованы дамская блузка букле, неудачная по вязке...», «Когда начали шить дамские пальто, тов. Иванова долго сидела над схемой» (Работница. 1941. № 14, 19). В идентичных контекстах журнала «Работница» предпочитается определение *женский*: «Поиски художницы привели меня в ателье женского платья» (1983. № 10); «...мода выбрала практичные женские прически в стиле 20—30-х и 50—60-х годов» (1985. № 12); «...в прошлом году выпущено около 24 тысяч женских деловых костюмов и пиджаков» (1986. № 1).

Таким образом, слово *женщина* обладает более широким значением, чем *дама*. Сочетания с определением *женский* нейтральны, не сопровождаются добавочными смысловыми и стилистическими наслоениями, «удобнее» в качестве прилагательных, входящих в различные наименования — предприятий бытовых услуг и лиц, работающих в этой сфере: *мастер женского платья, мастер женской одежды*; установилась и закрепились форма вывески — *женский зал, женский салон*, а также название *женский календарь*. Такие сочетания предпочтительнее с культурно-речевых позиций.

Беседы о речевом этикете

Н. И. Формановская,
доктор филологических наук



С

слово есть дело — эта истина не всегда осознается нами в своем прямом значении. Однако есть в жизни человека такие действия, которые возможно совершить только с помощью речи, иначе говоря, выражение *слово есть дело*

приобретает прямой смысл. В самом деле, как сделать действие, которое можно назвать «обещание» или «благодарность», «приветствие» или «совет»? Во всех этих случаях необходимо произнести: *Обещаю.., Благодарю.., Приветствую.., Советую..* или употребить эквивалентные высказывания. Здесь, как видим, действие и речь оказываются равными, то есть перед нами речевое действие.

Обратимся к речевому этикету, его ситуациям и соответствующим выражениям. *Приветствую!, Поздравляю!, Желаю успехов!* — все это истинные действия словом. В каких же языковых формах может выражаться идея речи, равной действию? Можно сказать: *Благодарю!*, а можно в этой же ситуации: *Спасибо!* Сказанное все равно есть действие благодарности. Значит, и *Привет!, Салют!, Здорово!* (в сниженном, непринужденном общении) — тоже форма речи-действия. Могут быть употреблены и краткие прилагательные: *Согласен!, Виноват! (Прошу прощения), Рад вас приветствовать.* Или такие сочетания слов: *С праздником!* — *Поздравляю с праздником!, Успехов тебе!* — *Желаю тебе успехов.*

Интересно ведут себя выражения речевого этикета с глаголом *хочу*: *Я хочу поблагодарить вас!, Я хочу извиниться перед вами!* и т. п. Такие высказывания содержат мысль не о желании совершить действие, а выполняют роль самого действия. В самом деле, ведь нельзя же на слова «Я хочу поблагодарить вас!» ответить следующим образом: «— Ну благодарите, если хотите!»

Перед нами не просто желание поблагодарить, а сама осуществленная благодарность. А вне речевого этикета как раз такая реплика — разрешение на соответствующее действие — и будет нормальной реакцией на высказывание с глаголом *хочу*, например: «Я хочу отдохнуть немного». — «Отдыхайте, пожалуйста».

Еще более интересно понаблюдать за сочетаниями, образованными с помощью сослагательного наклонения глагола *Я хотел(а) бы поблагодарить вас; Я хотел(а) бы извиниться перед вами; Я просил(а) бы вас (не мешать)*. Хорошо известно, что сослагательное наклонение обозначает действие нереальное и, во всяком случае, не исполненное, как в примере: «Я хотела бы поехать на Байкал». В ответ на выражение такого желания можно сказать: «Ну и поезжай, кто же тебе мешает!» Не то в стереотипах речевого этикета. Высказывание *Я хотела бы извиниться перед вами* и есть реальное извинение (то же, что *Прошу прощения!* или *Извините!*), только более подчеркивающее важность извинения и более вежливое.

Теперь о последней из приведенных форм — *извините*. Обычно повелительное наклонение обозначает действие еще не совершившееся, к которому побуждают адресата: *Сделайте это, сходите, принесите, пожалуйста...* А в речевом этикете бывает иначе! Его стереотипы располагают такими формами повелительного наклонения, которые ничего не повелевают адресату: *Здравствуйте!, Прощайте!, Извините!, Простите!* И такими, в которых значение побуждения почти стерто: *Позвольте поблагодарить вас!, Разрешите откланяться!* Но, ни к чему не побуждая, они обозначают реальное действие в момент речи. В речевом этикете повелительное наклонение встречается и в прямом своем значении — просьбы, совета, предложения, приглашения: *Сделайте это, пожалуйста; Я прошу вас сделать это; Я советую вам сделать это*. Вот как много разнообразных форм выразить действие с помощью речи в речевом этикете!

А что мы делаем, когда обращаемся к человеку? Обращение, как известно, самый яркий и самый употребительный этикетный знак. Называть того, к кому мы адресуемся, можно по признакам профессии и социальной роли: *Товарищ милиционер!, Товарищ начальник!*; по признакам возраста или пола: *Молодой человек!, Девушка!*; по тому, чем занят человек в данный момент: *Товарищи отдыхающие!, Граждане пассажиры!*; по родству и «дружеству»: *Мама!, Сынок!, Дочка!, Бабушка!, Другок!*; по личному имени: *Маша!, Наталья Петровна!, Владислав!* А если нам неважны признаки адресата, мы лишь привлекаем его внимание: *Простите., Извините., Будьте добры, скажите, пожалуйста...*

Обращения в русском языке имеют существенное отличие от всех других выражений речевого этикета. Они служат для того, чтобы продолжить начавшийся контакт, получить возможность сказать что-либо адресату. С этой точки зрения сравним одинаково звучащие высказывания в ситуации извинения и в ситуации обращения: *Простите!*, *Извините!* Если это извинение, то после него общение можно не продолжать. Если же это обращение, то мы должны продолжить общение, например: «Извините, где здесь остановка 130-го автобуса?» Как видим, обращение — это речь, равная действию: называя, зову адресата, для того чтобы спросить о чем-то или сообщить о чем-то.

Из сказанного следует и еще один важный вывод: в каждой речевой ситуации можно выбрать наиболее уместное, приемлемое выражение из того множества форм, которым обеспечил нас язык. Кому-то в определенной обстановке говорим: *Привет!*, а кому-то и где-то этого не скажем; в одном случае обратимся к человеку: *Танюша!*, а в другом *Татьяна Сергеевна!*; иной раз можно попросить: *Передай мне карандаш!*, а в другом случае: *Вас не затруднит передать мне карандаш?* Не учтя каких-либо показателей в ситуации общения, в нашем собеседнике, мы можем исказить добрую суть речевого этикета и обидеть человека. Так, бросив малознакомому, особенно немолодому: *Привет!*, назвав его на «ты», мы проявим грубость по отношению к человеку, а тем самым и собственную невоспитанность. Напротив, в дружеском общении с близкими людьми столь же неуместными окажутся и стилистически высокие выражения, типа: *Разрешите вас поблагодарить, Позвольте откланяться* и т. п.

Итак, выбирая то, что в наибольшей степени подходит для официальной или неофициальной обстановки общения, для характера отношений людей (старший, равный или младший партнер перед нами, близкий друг или начальник и т. д.), мы каждый раз действуем с помощью речи: приветствуем, благодарим, извиняемся, прощаемся, просим, советуем, соглашаемся, отказываемся, обращаемся, поздравляем, желаем, приглашаем, сочувствуем и т. д.

В первой заметке «Беседы о речевом этикете» (см.: Русская речь. 1988. № 2) мы говорили о том, что с помощью речевого этикета выражается вежливое, уважительное, доброжелательное отношение к человеку, и этого требуют правила поведения. Теперь вырисовывается и вторая причина того, почему речевой этикет так важен в нашем общении. Мы установили, что употребляя речевой этикет, мы не просто что-то сообщаем, а всегда делаем конкретное дело по отношению к адресату, и дело доброе,

Именно поэтому нас радуют вовремя произнесенные благодарность или комплимент, уместно употребленное извинение, в срок полученное поздравление. И огорчает, иногда и очень сильно, отсутствие благодарности за наше старание, недостаточно вежливая просьба, граничащая с требованием, обращение, в котором нас называют несоответственно, а значит, неуважительно. Именно здесь слово лечит, слово и ранит, потому что оно — дело.

Вот маленькая заметка из газеты: «Сегодня я получила паспорт — вроде бы „торжественный“ день в жизни, а у меня на глазах слезы... Конечно, я надеялась, что человек, который будет вручать паспорт, скажет: „Поздравляю, теперь ты гражданка СССР“, и почувствовать пожатие крепкой руки. А я услышала: „Давай два рубля, вот тебе паспорт, иди“» (Комсомольская правда. 1985. 8 февр.). Как видим, должностное лицо просто не сказало: *Поздравляю!* Можно предположить, что человек, вручающий паспорт, вовсе не хотел кого-то обидеть, а тем более огорчить до слез. Просто в его привычку не вошло использование речевого этикета, оно не стало автоматическим, обязательно исполняемым в нужном случае действием! Ведь каждый человек, к которому обращено выражение речевого этикета, ощущает его направленным именно на себя лично. И отсутствие соответствующего выражения воспринимает как личное оскорбление.

А вот еще пример. Заметка называется «Спасибо за покупку». Автор ее — десятиклассник, решивший пойти в продавцы во время производственной практики. Молодой человек описывает, с какими трудностями профессии он столкнулся в магазине радиотоваров. «Но узнал я и то, что все это с лихвой окупается хотя бы изредка сказанным тебе „спасибо“» (Комсомольская правда. 1986. 21 июня). Могут возразить, что в толчее магазина, в транспорте, когда он переполнен, в сутолоке жизни не до «спасибо» и «извините!» И будут неправы. Доведенная до автоматизма привычка к употреблению речевого этикета служит хорошую службу в любых, даже самых трудных условиях.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Иногда в литературе (преимущественно прошлого века) встречаю слово *жуировать*. Хотелось бы знать его значение».

И. В. Покровская, Москва

Жуир [от франц. *jouir* наслаждаться] — человек, ищущий в жизни только удовольствий, развлечений.

Жуировать, по Словарю В. И. Даля, — «наслаждаться жизнью, веселиться светскими забавами, жить весело».

Из Нормативно- стилистического словаря русского языка

Период (греч. *períodos* «обход, круговращение»).

Среди других значений существительное *период* имеет следующие: «промежуток времени, в течение которого совершается какой-либо процесс», «этап общественного развития»: *период вращения земли, период цветения, зимний период; советский период*.

Довольно часто встречается выражение «период времени»: «В жизни человека бывает период времени, от которого зависит вся моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития» (Помяловский. Очерки бурсы). Однако поскольку в слове *период* уже содержится понятие о времени и его длительности, этот оборот является избыточным, плеонастичным. Поэтому не следует допускать в речи сочетаний наподобие «за этот период времени» (нужно: *за это время* или *за этот период*), «в осенний период времени» (верно: *в осенний период* или *осенью*), «длительный период времени» (правильно: *длительное время* или *длительный период*).

Писать.

В значении «сообщать о ком-чем-либо, высказывать что-либо письменно или печатно» это слово выступает — при сообщении темы или указании на общее содержание написанного — в конструкции *писать о ком-чем-либо*: *писать о знакомых, писать о новостях*. Сочетания с предлогом *про* (*писать про детей*) имеют разговорную окраску; но в устойчивом выражении *не про нас* (*меня, вас* и т. д.) *писано* («недоступно нашему пониманию, предназначено не для нас») используется только *про*, близкий здесь по значению предлогу *для*.

При указании адресата глагол *писать* в значении «обращаться к кому-либо письменно, посылать письмо» употребляется в сочетании с зависимым существительным в дательном падеже без предлога: *писать другу, писать родителям, писать руководству*. В русском литературном языке XIX века норма управления глагола *писать* была иной: наряду с беспредложной конструкцией *писать кому-либо* был принят и в свое время являлся основным вариант *писать к кому-либо*: «Я к вам пишу — чего же боле?» (Пушкин, Евгений Онегин). Эта предложная конструкция стала

выходить из употребления уже во второй половине XIX века и к настоящему времени окончательно устарела,

План.

В значении «заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ» это слово выступает как в беспредложной конструкции *план чего-либо*, так и в сочетании с предлогом *по* и дательным падежом зависимого слова: *план продажи молока, план реконструкции завода — план по трубам, план по объему реализованной продукции.*

Со словами, обозначающими действие или процесс, существительное *план* выступает и в составе беспредложной конструкции и с предлогом *по*: *план выплавки стали — план по выплавке стали.*

Основным — а во многих случаях единственно возможным — при строгом книжно-литературном употреблении (например, в официально-деловой речи) является традиционный вариант беспредложного управления: *план социально-экономического развития коллектива, план капитального строительства, план ввода жилья в строй.* Однако в других типах литературных текстов (в разговорной речи, в печати) все более широкое распространение получает конструкция с предлогом *по*. Это объясняется его высокой активностью употребления в сочетаниях с обобщенно-определятельным значением (типа *инструкция по технике безопасности*) в современном русском литературном языке, а также различными стилистическими соображениями, например стремлением избежать «нанизывания» одинаковых падежных форм: *план реконструкции сталелитейного цеха завода — план по реконструкции сталелитейного цеха завода.* Подобные обороты не выходят за пределы современной синтаксической нормы.

Если зависимыми словами являются существительные с отвлеченным, конкретно-предметным или вещественным значением (например, наименования изделий, продукции), то используется только конструкция с предлогом *по*: *план по объему производства, план по трубам, план по молоку.*

Нужно отметить, что конструкция *план по чему-либо* часто имеет более общее значение, чем беспредложные сочетания. Так, словосочетание *план по бумаге* в одних контекстах (прежде всего в разговорной речи) может выступать на месте оборотов с более конкретным значением — *план производства бумаги, план переработки бумаги, план реализации бумаги* и т. д.; в других же — иметь обобщенное значение, включающее в себя значения всех этих сочетаний (т. е. *план и по производству, и по переработке, и по реализации бумаги*),

Отвечает Служба языка



Наверно — наверное — наверняка

И. А. Елисеева,
доцент Орехово-Зуевского пединститута

Как различаются эти слова в нашей речи? С таким вопросом часто обращаются в Службу русского языка.

В современном русском литературном языке слова *наверное* и *наверно* одинаковы по значению и употребляются чаще всего в роли вводных слов, выражающих сомнение, предположение, — «вероятно, может быть, по-видимому»: «Она сказала, что они, наверное, очень устали и пора всем возвращаться в город» (Паустовский. Дым отечества); «Неделю, наверно, Андрой Ерин жил, как во сне» (Шукшин. Микроскоп). Вместе с тем, не различаясь по значению, они относятся к разным стилям речи. Так, слово *наверно* чаще встречается в живой разговорной речи, в контекстах, передающих эту речь: «Нас, женщин, наверно, особенно радует, как решительно идет сейчас борьба с пьянством» (Советская Россия, 1985. 1 сент.); «И вечером я сказал маме, которая вернулась с работы: — Звонили, наверно, раз двадцать!» (Алексин. Звоните и приезжайте); «А хозяина бумажки нет. „Наверно, тот, в шляпе“, — догадался Чудик» (Шукшин. Чудик). Вариант *наверно* образовался в результате утраты конечного звука у слова *наверное*.

В прошлом эти слова употреблялись в значении наречий «несомненно, точно, непременно»: «Она это наверно сказала? — спросил он, и голос его как бы дрогнул» (Достоевский. Идиот); «Колосов посмотрел на меня и спокойно проговорил: „Может быть“.— „Не может быть,— закричал я,— а паверное!“» (Тургенев. Андрей Колосов); «Телеграфируйте наверное, когда Вы будете в Москве...» (А. П. Чехов. Письмо А. С. Суворину. 1893. 28 июля).

Подобное употребление устарело для современного русского языка, но иногда встречается и в произведениях советских писателей вплоть до сегодняшнего дня: «— Дело в том, что мне кажется... я была знакома с этим человеком... даже наверно очень хорошо знакома...» (Беляев. Властелин мира); «— И еще...—

сказала неуверенно Татьяна Андреевна.— Возможно, что я поеду с вами в Ялту... Но это еще не наверное...» (Паустовский. Дым отечества).

Наречие *наверняка*, образованное от жаргонного слова *верняк* (см. об этом в книге Л. И. Скворцова «Теоретические основы культуры речи». М., 1980. С. 172), употребляется в нашей речи в значении «несомненно, точно»: «Лаура Витальевна присела в уголок и стала ждать решения своей судьбы. Да-да, именно судьбы, теперь она знала это наверняка» (Черкашин. Последняя ночь лета), или «обязательно, непременно»: «Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони» (Паустовский. Бросок на юг).

А вот еще пример: «[Мать] никогда вслух не загадывала и действовала молча и наверняка» (Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина) — здесь *действовать наверняка* значит «действовать с верным расчетом, без риска ошибиться».

Слово *наверняка* возникло в живой разговорной речи как бы взамен слов *наверное* — *наверно*, утративших старые значения и развивших новые, прямо противоположные прежним.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«У меня один вопрос: *покойник* — имя существительное одушевленное или нет? Учитель русского языка сказал, что если рассматривать слово логически — то неодушевленное, а если грамматически — то одушевленное. Как же так получается?»

Оля Ткачук, г. Узловая, Тульской обл.

Дорогая Оля! Не сомневайся: учитель ответил тебе правильно. Ты узнала одно из самых интересных явлений в морфологии. Дело в том, что есть слова, которые в своем значении совмещают понятия о живом и неживом — это имена существительные *покойник*, *мертвец*, *кукла*. Если поставить их в винительный падеж, например, «наши сети притащили (кого?, а не что?) *мертвеца*» (Пушкин), то станет ясно, отчего грамматически это слова одушевленные.

Еще раз: Дон — Жуан или Дон Жуан?

Д. Э. Розенталь,
доктор филологических наук

В № 3 «Русской речи» за 1987 год была опубликована статья Л. П. Калакуцкой под названием «Дон-Жуан или Дон Жуан..?». Указывая на рекомендацию «Правил русской орфографии и пунктуации» 1956 г. писать слова *Дон-Жуан* и *Дон-Кихот* через дефис в качестве исключения, поскольку вторая часть сочетаний не употребляется отдельно, автор статьи отмечает их «очевидную нелогичность». Само по себе предложение пересмотреть отдельные положения «Правил» вполне понятно: они, действительно, нуждаются в частичных изменениях, уточнениях, дополнениях. Но относится ли это к данному частному случаю? Рассмотрим доводы автора.

«Во-первых, и в этих именах *дон* означает «господин», как и в *Дон Карлос*, *Дон Педро*, *Дон Базилио*», — пишет автор. И в другом месте: «Видимо, следует считать, что в орфографической практике утвердилось написание с прописной буквы *Дон Жуан* и *Дон Кихот*, а также всей группы имен, начинающихся с *дон*». Так ли это? Достаточно взять переводы с итальянского произведения Марио Кьюзо, Эдуардо де Филиппо или с испанского, например латиноамериканских повелл, чтобы убедиться в обратном. Читаем: *дон Гаэтано*, *дон Паскуале*, *дон Диего*, *дон Педро*, *дон Хайме* и т. п. (написание первых слов с прописной буквы выглядело бы более чем странно). И это вполне понятно.

Каков лингвистический статус слова *дон*? Л. П. Калакуцкая указывает: означает «господин». Отсюда ясно, что перед нами отнюдь не собственное, а нарицательное существительное. На каком же основании в свободных сочетаниях писать *дон* с прописной буквы? Можно привести аналогию с немецким словом *гerr* (*гerr Мюллер*): в обоих случаях строчная буква, раздельное написание.

«Во-вторых, — продолжает Л. П. Калакуцкая, — оговорив исключение в написании *Дон-Жуан* и *Дон-Кихот*, авторы „Правил“

никак не оговорили написание транскрипционных вариантов ... *Дон Гуан, Дон Хуан, Дон-Кихот...*). Но разве отсутствие такой оговорки является «доводом» в пользу написания *Дон Жуан, Дон Кихот*? К тому же, нужны ли эти транскрипционные варианты? Происхождение их известно. После XVI века в метрополии (Испании) и в колониях (Латинской Америке) образовались два варианта: *Хуан* и *Жуан*, с заменой заднеязычного звука шипящим. Но нужен ли, как это предлагает Л. П. Калакуцкая, в современных словарях (орфографических) устарелый вариант *Гуан* на том основании, что он встречается у Пушкина? Не приводятся же в нормативных справочниках имен старые формы *Марфинька* (Гончаров), *Феничка* (Тургенев), *Аннинька* (Салтыков-Щедрин). Форма *Дон-Кихот* — французский вариант имени.

«В-третьих, эти имена свободно употреблялись (и употребляются) без *дон* и у Пушкина, и в литературе о Пушкине: *Гуан, Жуан, Кихот*» [приводятся выдержки из статей А. А. Ахматовой и М. Булгакова]. Однако нетрудно видеть, что налицо сокращенные варианты, подобные профессиональному выражению: «В „Руслане“ он пел партию...» (вместо: в «Руслане и Людмиле»). Применительно же к двум рассматриваемым персонажам — историческому (у Тирсо де Молины, Мольера, Байрона) и литературному (у Сервантеса) до сих пор ни разу не встретились сочетания без *дон* типа: «похождения Жуана», «странствия Кихота».

«И, наконец, в-четвертых, написание *Дон-Жуан, Дон-Кихот* создает неоправданную орфографическую путаницу: ведь *Дон Карлос*, сопутствующее *Дон-Жуану*, следовало бы писать *дон Карлос...*» — заканчивает свои аргументы Л. П. Калакуцкая.

Совершенно верно, в Советском Энциклопедическом Словаре так и сделано: *дон Карлос, дон Карлос Старший, дон Карлос Младший*, что отмечает и Л. П. Калакуцкая. Указание на мнимую «путаницу» — сомнительный довод в пользу написания *Дон Жуан, Дон Кихот*.

Какие выводы вытекают из статьи Л. П. Калакуцкой и какие рекомендации дает автор для Орфографического словаря?

1. Получается, что слово *дон* (со строчной буквы) вообще не существует (см. первый довод), так как отдельно оно не употребляется, а в сочетании с собственным именем должно писаться с прописной буквы (об ошибочности этого утверждения свидетельствуют приведенные выше примеры из произведений итальянской и испанской прозы и драматургии). Но если слова *дон* нет, то повисает в воздухе замечание автора, что в Орфографическом словаре обязательно должно быть: «при употр. *дон* с муж, _____ именами — *нескл.*...» — рекомендация к слову-призраку,

со ссылкой на Толковый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова. Попутно укажем, что в этом словаре имеются неточности:

а) *дон* не только испанское слово, но и итальянское — «почетный титул духовенства и дворян» (Словарь иностранных слов); б) неверно, что *донна* — «слово, присоединяемое к имени женщин дворянского сословия в Испании»: такого слова в испанском языке нет, поскольку в нем нет двойных согласных (есть слово *донья*). Что касается утверждения Л. П. Калакуцкой о несклоняемости слова *дон*, то здесь явная ошибка. Приведем свежий пример: в журнале «В мире книг» (1987. № 12) дана репродукция картины П. Понциуса с надписью «Портрет дона Диего де Гусмана». В свое время в «Мире приключений» печаталась авантюрная повесть «Приключения дона К.» (по-другому не скажешь).

2. Следует давать женские формы (*донна* и *донья*) без лексических пояснений, — предлагает Л. П. Калакуцкая. Почему? Ссылка на то, что в первом издании Орфографического словаря не было «никаких лексических помет», вряд ли убедительна: разве словарь не следует совершенствовать, обогащать информацией? В «Словаре иностранных слов» (М., 1981) читаем: *дон* (исп., ит.), *донна* (ит., португ.), *донья* (исп.). Разве эти пометы лишни? Кстати, они приводились уже в популярном в начале нашего века однотомном «Справочном общедоступном энциклопедическом словаре» под редакцией А. Н. Чудинова. И разве лишними являются пояснения: *сеньор*, *сеньора*, *сеньорита* (исп.) — *синьор*, *синьора*, *синьорина* (ит.)?

3. «Но кроме того, в Орфографическом словаре необходимо дать третью форму — *дона*, *-ы*. Это написание должно быть сохранено, поскольку оно есть у Пушкина...» — еще одна рекомендация Л. П. Калакуцкой. Но ведь такого слова нет ни в одном романском языке, его нет и никогда не было в живой испанской речи. Л. П. Калакуцкая правильно объясняет его появление смешением принципов транскрипции и транслитерации. Другое дело — изучение языка произведений Пушкина.

Слово *дон* следует писать отдельно со строчной буквы, в словарях без пометы *нескл.* Превращаясь в морфему (часть слова), *дон* сливается с собственным именем при его употреблении в нарицательном значении: *донжуан*, *донкихот*. Бывают же слияния в других случаях: *фон Бюлов* — *Фонвизин*. Следует писать *Дон-Жуан* и *Дон-Кихот* (с дефисом) на основании «Правил» 1956 г.

Как образовать краткую форму термина

И. Н. Волкова,
кандидат филологических наук

Основное достоинство термина — его краткость. Краткие термины более удобны для использования в языке различных сфер деятельности. Однако на практике, в силу разных причин, требование краткости не всегда реализуется, и в настоящее время более половины терминов, узаконенных в терминологических стандартах (стандартизованных терминов), многословны: включают три компонента и более, в том числе союзы, предлоги, а иногда даже и причастные обороты (например, *таль, управляемая из кабины; таль, управляемая с пола; отходы, содержащие благородные металлы*).

Многокомпонентные термины трудны в употреблении, поэтому в терминологические стандарты стали включать так называемые краткие формы. Их допускается применять вместо полной формы в случаях, исключающих возможность неправильного толкования термина, то есть когда из контекста ясно, о чем идет речь. Так, если рассматривается *база данных*, то необязательно по всему тексту писать полностью: *внешняя схема базы данных, внутренняя схема базы данных*, а можно короче: *внешняя схема, внутренняя схема*.

Несмотря на то, что в практической работе по упорядочению и стандартизации терминологии краткие формы используются достаточно давно, в методической литературе отсутствуют четкие требования, которым они должны удовлетворять. Этот вопрос уже рассматривался на страницах «Русской речи». В статье В. П. Даниленко «О кратком варианте термина (к вопросу о синонимии в терминологии)» были выделены наиболее распространенные языковые способы образования кратких форм: лексическое сокращение; сокращение средствами словообразования; сокращение средствами символики (Русская речь. 1972. № 5). Интересно рассмотреть эту проблему не только с точки зрения языка, но и содержания понятия.

Исследование терминологических стандартов показало, что способы образования введенных в них кратких форм разнообразны. Широко используются такие: эллипсис (полный или частичный пропуск какого-либо признака); различные варианты пере-

носа признака; сокращение лексических средств (аббревиация); замена слов символической; использование других синтаксических и словообразовательных моделей.

Кратко расскажем об этих способах.

Э л л и п с и с. При образовании краткой формы могут быть пропущены разные признаки: видовой; родовой; «целое»; «части, составляющие целое»; «объект процесса»; «объект, измеряемый величиной» и др. Например, полная форма *технический контроль* — краткая *контроль* (пропущен видовой признак); *типовой технологический процесс* — *типовой процесс* (пропущена часть родового признака); *корпус полупроводникового прибора* — *корпус* (пропущен признак «целое»); *решетка лазерных диодов* — *решетка* (пропущен признак «части, составляющие целое»); *накачка лазера* — *накачка* (пропущен признак «объект процесса»); *массовое число иона* — *массовое число* (пропущен признак «объект, измеряемый величиной»).

Перенос признака. В терминологических стандартах представлены краткие формы, образованные переносом разных признаков: объекта процесса на процесс (*запуск холодного ГТД* — *холодный запуск*); процесса на объект процесса (*пучок лазерного излучения* — *лазерный пучок*); режима процесса на объект процесса (*лазер непрерывного режима работы* — *непрерывный лазер*); целого на часть (*излучатель полупроводникового лазера* — *полупроводниковый излучатель*).

Краткая форма может быть образована с помощью сокращения слов. Самым распространенным способом является инициальная аббревиация: *запоминающее устройство* — *ЗУ*, *накопитель на магнитной ленте* — *НМЛ*. Нередко аббревиатурой заменяется не весь термин-словосочетание, а его часть: *многофункциональный электронно-магнитный трансформатор цифровой электронно-вычислительной машины* — *МЭТ цифровой ЭВМ*; *кольцевая камера сгорания* — *кольцевая КС*. Возможны также сложносокращенные термины: *вибрационный двигатель* — *вибродвигатель*; *гетерогенный переход* — *гетеропереход*; *диодный тиристор* — *динистор*. При этом способе образования в краткой форме сохраняются все признаки понятия, представленные в полном термине, используются те же слова, но в сокращенном виде.

Замена некоторых слов символической — явление, распространенное в языке науки и техники. Буквенные символы широко применяются для обозначения категории величин или их отдельных признаков, во многих случаях эти символы интернациональны. Иногда символической передается часть признаков: *электронно-дырочный переход* — *p-n-переход*; *дырочная область* —

p-область; электронная область — *n*-область (*p* и *n* обозначают соответственно признаки «электронный» и «дырочный»).

Используются и другие слова по сравнению с полным термином (*коническая зубчатая передача без смещения* — *нулевая коническая передача*; *электропривод дискретного вращательного движения* — *шаговый электропривод*), в том числе замена мотивированного признака фамильным (*температура сегнетоэлектрического фазового перехода* — *сегнетоэлектрическая точка Кюри*).

Правомерно ли все перечисленные сокращения стандартизованных терминов рассматривать как краткие формы? Можно ли их применять вместо термина-словосочетания? При пропуске видового признака в качестве краткой формы выступает термин родового понятия. В этой ситуации видовой термин заменяется родовым, становится как бы его синонимом. Если из текста ясно, о чем идет речь, то использование вместо термина *технический контроль* его краткой формы *контроль* вполне допустимо. Аналогичная ситуация при пропуске признаков «целое», «части, составляющие целое» и ряда других. Образованные таким образом краткие формы можно использовать, так как контекст позволяет восстановить опущенное слово (или слова) и недоразумений с толкованием терминов не возникает.

Иная ситуация складывается при полном пропуске родового признака. В этом случае создается новый термин: *обдирочное состояние* — *обдирка*; *исправное состояние* — *исправность*. А в ряде случаев не просто новый, но такой, который вызывает другое осмысление. Так, *исправное состояние* и *работоспособное состояние* выражают понятия категории состояния, а приведенные в качестве их кратких форм *исправность* и *работоспособность* — свойства или величины, так как слова на *-ость* характерны для терминов именно этих категорий.

Все случаи переноса признака, использование других слов или синтаксических моделей (*регулятор времени сварки* — *таймер*, *птица для убоя* — *убойная птица*); замена фамильным основного признака также приводят к появлению новых терминов. Поэтому не следует считать их равнозначной заменой полной формы термина.

Очевидно, в качестве краткой формы стандартизованного термина могут быть использованы конструкции, полученные эллипсисом (кроме полного пропуска родового признака), аббревиацией (сокращением слов), заменой слов в наименовании буквенными символами.



З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ И РАБОТА С НИМИ В ШКОЛЕ

«Филологическая образованность — показатель культуры общества и человека в отдельности», — этими словами К. Д. Ушинского открывается пособие для учителя З. А. Потихи и Д. Э. Розенталя «Лингвистические словари и работа с ними в школе» (М.: Просвещение, 1987).

Каждому известно, что словари помогают правильно писать слова, определять и объяснять их значения. Но не только. Словарь можно читать и как любую хорошую книгу, ибо он расширяет кругозор. Недаром А. Франс писал: «Словарь — это книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из нее...» Понятно, что с точки зрения познавательности несомненный интерес представляют энциклопедические или толковые словари. Но вот сугубо лингвистические — скажем, орфографический или словарь иностранных слов — могут ли они способствовать расширению нашего кругозора?

На этот вопрос утвердительный ответ дают в своей книге З. А. Потиха и Д. Э. Розенталь, известные лингвисты-практики, авторы популярнейших справочников, словарей и

пособий. Они не только подробно знакомят с самыми разными словарями, но и показывают, как с их помощью можно оживить уроки русского языка, сделать их увлекательными.

Лингвистические словари могут быть также использованы при объяснении непонятных и трудных слов на уроках литературы, на различных дополнительных занятиях, внеклассных мероприятиях (в кружках, на олимпиадах, викторинах и т. п.). «Главное заключается в том, — подчеркивают авторы, — чтобы выработать у учащихся потребность в необходимых случаях обращаться к справочной литературе, научиться самостоятельно добывать новые знания». Одним словом, работу со словарями необходимо организовать таким образом, чтобы ею заинтересовать учащихся.

Особенно большое внимание уделено в пособии школьному орфографическому словарю, наиболее распространенному и доступному справочному изданию для учащихся. Дело в том, что при отсутствии других специальных пособий этот словарь можно использовать при изучении многих разделов русского языка, не только орфографии. З. А. Потиха и Д. Э. Розенталь

дают практические рекомендации, как это лучше делать. Так, при изучении фонетики можно выписывать из словаря слова с обозначением ударения; изучая состав слова, учащиеся могут брать производные слова различной структуры; при изучении морфологии можно предложить учащимся выписать слова определенной части речи и классифицировать их по грамматическим признакам.

Пособие содержит описание 26 типов лингвистических словарей. Каждому посвящена отдельная глава, в которой не только назван и рассмотрен конкретный словарь (синонимов, омонимов, эпитетов, иностранных слов и многие другие), но и даются примеры заданий, которые можно предложить учащимся для усвоения материала.

При этом каждый учитель сможет убедиться, что работу со словарем, даже самым обычным, можно построить так, что откроются безграничные возможности и в плане приобщения учащихся к общественно-политической лексике, и знакомства их через терминологию с различными профессиями. Словарная работа может быть

использована и в военно-патриотическом воспитании: ведь в словарях имеется военная лексика, содержатся пословицы и поговорки на военно-патриотическую тему, которые могут служить дидактическим материалом при изучении русского языка. «Объективно существующие связи между лексикой и самыми разнообразными сторонами действительности создают неограниченные возможности воспитательного воздействия на учащихся при обучении их русскому языку», — подчеркивают авторы.

Первое, что увидит читатель, открыв пособие «Лингвистические словари и работа с ними в школе», — это набранный крупным шрифтом заголовок: «Для чего эта книга?» Всем дальнейшим изложением ее авторы на поставленный ими самими же вопрос отвечают: для того, чтобы раскрыть ценность и значение словарей, показать, что заинтересованная работа со словарями может способствовать формированию у учащихся стремления к самообразованию, самостоятельности лингвистического мышления.

Н. А. Ревенская

СЛОВАРЬ РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Словари и грамматики — это те вершины, которые поднимаются над всеми языковыми исследованиями. Именно поэтому их появление воспринимается с особым интересом и вниманием.

«Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова (М.: Русский язык, 1985) — первый большой словарь такого жанра. Он издан в двух томах общим объемом около

1800 страниц, включает почти 145 000 слов. Это самый полный из всех словарей современного литературного языка. [Для сравнения напомним: Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова содержит более 85 000 слов; 17-томный Словарь современного русского литературного языка — 120 480; 4-томный Словарь русского языка — более 80 000; однопотомный Словарь русского язы-

ка С. И. Ожегова — около 57 000]. В отличие от толковых, словообразовательный словарь требует максимальной лексической полноты. Чем шире круг однокоренных слов, тем больше возможностей точнее определить место каждого слова в гнезде, правильно установить его живые связи с другими словами.

Словообразовательный словарь — это словарь-справочник, в котором раскрывается структура производных слов, то есть показано, на базе какого производящего и при помощи каких средств они образованы. В этом заключается основное содержание словообразовательного словаря. Кроме того, избранный автором метод подачи материала позволяет выявить морфемный состав каждого слова. Так, например, глагол *выбелить* представляет собой образование от глагола *выбелить* с помощью суффикса *-ива-*, его же морфемный состав складывается из элементов *вы-*, *бел-*, *-ива-*, *-ть*; прилагательное *целестремленность* образовано от прилагательного *целестремленн(ый)* посредством суффикса *-ость*, включает морфемы *цел-*, *-у-*, *-стремл-*, *-енн-* и *-ость*, а также соединительный гласный *-е-*.

В качестве основной единицы словаря выступает словообразовательное гнездо. Это совокупность однокоренных слов, имеющих в современном русском языке живые смысловые связи: *соль, соляной, солонина, солонинный, солевой, солить, соленье, посолить, засолить, засолка, пересолить, недосолить, подсолить, подсаживать, насолить, соленый, соленость, солоноватый, солоноватость, солевар, солеварение, солеварочный, солеварница, солеварный, солекоп, соледобытчик, солепромышленный, солепромышленность* и мн. др. Включение всех этих

слов в одно гнездо определено наличием у них материально выраженного общего элемента значения. Общее количество гнезд в словаре А. Н. Тихонова — 12 621.

Исходное слово — первая и обязательная ступень словообразования — возглавляет гнездо. Словарь составлен по алфавиту исходных слов: существительные *база, дуб, корова, сын*, прилагательные *аккуратный, синий, широкий*, числительные *семь, сорок, тысяча*, местоимения *ваш, кто, мой, ты*, глаголы *делать, лечь, пить*, наречия *везде, здесь, туда*, междометия и звукоподражания *ах, ква, ку-ку*, служебные слова *да, нет*.

Слова, образующие гнездо, неоднородны во многих отношениях. Так, в одном и том же гнезде оказываются представленные стилистически разнородные пласты лексики (слова нейтральные, книжные, разговорные, просторечные, вульгарно-бранные; терминологические и нетерминологические); среди производных встречаются слова, представляющие собой активную лексику (*где, кефир, винт, школа*); полностью или частично относящиеся к пассивной лексике (*кафтан, квакер*), как исконные, так и заимствованные и т. д.

Объем гнезд различен; самые большие из них включают сотни, нередко по 400—500 и более образований: *ходить* — 470, *весть* — 507, *два* — 547, *половина* — 587, а есть такие, которые имеют одно производное: *клубук* — *клубочок*; *ментор* — *менторский*.

Глубоко продуманный, детально разработанный порядок размещения производных позволил осуществить основную идею словаря — показать словообразовательную структуру русского языка. Такой прием передает

смысловую близость к производящему слову, выражает лексико-грамматические и словообразовательные отношения. Автором принят ступенчатый порядок размещения производных, который исходит из характера русского словообразования. Особенность его заключается в том, что аффиксы присоединяются к исходной форме в строгой последовательности. Новые слова как бы напизываются на корень: *редк(ий) → редк-ость → редкост-н(ый) → редкостн-ость; бел(ый) → бел-ить → от-белить → отбел-ива-ть → отбеливаться.*

Принятая подача материала позволила отразить участие в словообразовании орфографических, морфологических, стилистических вариантов, активность различных частей речи, каждой производящей основы, входящей в сложное слово; выделить в составе производных слов регулярные чередования, а также нетиповые звуковые преобразования, вставки и выпадения фонем, которые нашли отражение в орфографическом облике слова, и др.

Все слова снабжены знаком ударения. Словарь отразил вариантность русского ударения, не нарушающую установившиеся литературные нормы. Грамматические сведения последовательно даются лишь в тех случаях, когда они имеют какое-либо отношение к словообразовательным свойствам слов или когда способствуют правильно-

му пониманию их строения.

Составление большого гнездового словообразовательного словаря, не имеющего традиции в отечественной лексикографии, потребовало глубокой теоретической разработки основных принципов его построения. Первый том содержит раздел, в котором определены основные понятия и категории русского словообразования; он имеет и самостоятельную научную ценность.

Второй том, помимо словообразовательных гнезд, включает и алфавитный список производных слов, сопровождаемых четко разработанными индексами, которые отсылают к соответствующей букве. Список включил 126 690 производных слов. Здесь есть специальный раздел «Одиночные слова», где в алфавитном порядке представлены 5497 слов, не имеющих производных, что составляет 3,7 процента всего словника: *азалия, алиби, бяка, капор, мастодонт, миксер, пассия, роговица, табакá, узы* и др.

Словарь А. Н. Тихонова проникает в тайные глубины русского слова, его строения, обнаруживает те нити, которые объединяют слова. Для всех, любящих русское слово, для ученых, занимающихся его изучением, этот двухтомник дает бесценный материал по русскому словообразованию.

Г. П. Миськевич,
кандидат филологических наук

К 1000-ЛЕТИЮ ВВЕДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ



И стала Киевская Русь
«ведома и слышима
всеми...»

Е. М. Верещагин,
доктор филологических наук,
В. П. Вомперский,
доктор филологических наук

Замечательное произведение древнерусской литературы «Слово о законе и благодати» Илариона торжественно славит «Володимира, внука старого Игоря, сына же славнаго Святослава», ведь именно при нем и при его сыне Ярославе Киевская Русь достигла наивысшего могущества. Однако на первое место среди прочих заслуг Владимира Иларион (как и другие книжники) ставит осуществленную им смелую государственную реформу — крещение Руси. Летопись донесла до нас чувства современников в таких похвальных словах Владимиру: «Дивно же есть се, колико

добра створил Рустеей земли, крестив ю...» (Удивления достойно, сколько добра сотворил [он] Русской земле, крестив ее).

Сам Владимир принял крещение за пределами страны, в Корсуни (в Херсонесе Таврическом), а вернувшись в Киев и сокрушив языческих кумиров-идолов, приказал всем — «богат ли, ли убог, или нищ, ли работник» — выйти к Днепру. «Повесть временных лет» сообщает о массовом крещении под 6496-м годом «от сотворения мира» (то есть в 988 году). Ровно тысячу лет назад волнующаяся толпа киевлян прошла по дороге, которая позже получила «говорящее» название — Крещатик. Древнее предание указывает и точную дату столь выдающегося события — 1-е (по новому стилю 14-е) августа, разгар лета, когда днепровская вода тепла, как парное молоко.

Академик Б. В. Раушенбах в статье «Сквозь глубь веков» («Коммунист», 1987. № 12) назвал это символическое погружение в днепровские воды «выдающимся событием в истории нашей Родины».

Однако первые христиане появились в Киеве отнюдь не только после возвращения Владимира из Корсуни и официального крещения киевлян в 988 году. Так, наша начальная летопись сообщает, что в 945 году был заключен еще один договор с греками, причем «хрестеянская Русь», в отличие от поклонников Перуна, приносила клятву в соборной церкви св. Илии, «яже есть над Ручаем», в самом сердце Киева. К 955 году относится крещение великой княгини Ольги, бабки Владимира, и Малуши, его матери, которые также поддерживали в столице христианский очаг. Ольге, правда, не удалось склонить к новой вере своего сына Святослава, и официальная христианизация страны задержалась.

Итак, первого августа на Днепре можно было видеть живописную картину, и летописец ее зафиксировал: люди вошли в воду и стояли там, одни по шею, другие по грудь, кто протягивал младенца, а кто переходил с места на место. А потом князь «повеле рубити церкви и поставляти по местом». И тут же, придавая этому событию особое значение, летописец (под тем же 988 годом) сообщает: «Послав, нача поимати у нарочитые чади дети, и даяти нача на учење книжное. Матери же чад сих плакаху по них, еще бо не бяху ся утвердили верою, но аки по мертвеци плакахся» (Посылал он [Владимир] собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали, ибо не утвердились они еще в вере и плакали о них, как о мертвых).

Перед нами известие об основании первых училищ, или школ, на Руси. Они появились в год принятия христианства, ров-

но тысячу лет назад. Юбилей восточнославянской школы — еще одно выдающееся событие в культурной жизни нашей страны.

Письменность и литературный язык — основа основ, краеугольный камень бытия народа и государства. После официального крещения драгоценные рукописи на пергамене свободно и широко пошли к нам из родственных славянских земель и немедленно стали осваиваться, переписываться и распространяться в Киеве, Новгороде и других русских городах и селах. Письменность — это залог исторической памяти, без нее мы лишились бы русского летописания; обработанный и нормированный язык — условие прогресса в развитии науки, благодаря ему Русь быстро преодолела отставание от передовых стран. Литературный язык в Древней Руси стал также средством массового просвещения и нравственного воспитания народа.

Если говорить о древних книгах, дошедших до нас, то от XI—XIII веков мы имеем примерно 500 полных или фрагментарных рукописей (см.: «Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв.» М., 1984), что составляет лишь полпроцента от реального количества находившихся в обращении евангелий, псалтырей, часословов, служебников, требников, торжественников, летописцев, трактатов-изборников и т. д. Уберечь книгу трудно — повседневно употребляемые буквально зачитывались до дыр, многие рукописи расхищались и погибали от пожаров, пропадали от небрежения и невежества. Поэтому исследователи судят о количестве книг, бытовавших в Древней Руси, на основании косвенных показателей (подробно об этом см. статью Л. П. Жуковской «Сколько книг было в Древней Руси». — Русская речь, 1971. № 1). Вплоть до XIV века восточнославянские книжники создали не менее ста тысяч экземпляров многостраничных рукописей. Для того, чтобы править церковную службу, требовалось до десяти отдельных книг, а церковью на Руси — тысячи, так что можно себе представить и число непременно имевшихся в них книг. Обычно при храме возникал кружок грамотных людей: православное богослужение невозможно выучить наизусть, так что и священники, и псаломщики, и диаконы, и клирошане, и анагносты-чтецы (предусматривалась и такая специальная должность) умели читать, а многие и писать. Грамотность на Руси, особенно по сравнению с другими странами, в которых господствовала непонятная масса латынь, приобрела всенародный характер.

Обеспечивалась же грамотность русской школой. В школе обучали счету, давали основные исторические, географические и другие полезные сведения, но все же главное внимание направ-

лялось на овладение древнерусским литературным языком. Такая установка прямо вытекала из новой христианской веры, настойчиво прославлявшей грамотность: «всякое писание полезно есть ко учению», «внемли чтению», «обучай себе», «измлада умеи писания, могущая тя умудрити». Поэтому и сам Владимир, будучи в годах, трудолюбиво учился, о чем и сообщает летопись под 996-м годом: князь «бе бо любя словеса книжная». Что же касается его сына Ярослава, прозванного Мудрым, то его любовь к «книжным словесам» была широко известна и за пределами Руси. Летописец же засвидетельствовал, что Ярослав «книгам прилежа, и почитая е часто в нощи и в дне» (книги любил, читая их часто и ночью и днем). Еще будучи князем Новгородским, Ярослав, по примеру отца, также стал набирать детей на книжное учение, «и бысть множество училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых философов».

Показательно, что и великокняжеская дружина, в которой, вероятно, больше ценилась физическая сила, постепенно становится грамотной. Достоверность наших былин доказана, и можно видеть рациональное зерно в единодушных сообщениях о том, что древнерусские богатыри в детстве посещали «училища книжные». Приведем пример из былин о Василии Буслаеве:

Будет Васинка семи годов,
Отдавала матушка родимая,
Матера вдова Амелфа Тимофеевна,
Учить ево во грамоте,
А грамота ему в наук пошла;
Присадила пером ево писать,
Письмо Василью в наук пошло;
Отдавала петью учить церковному,
Петье Василью в наук пошло...

Также с семи лет учился грамоте другой древнерусский богатырь — Вольга, и опять-таки отдала его в учебу «матушка родимая — Марфа Всеславьевна». Об Алеше Поповиче сказано: «в грамоте поученой человек». Грамотен и Добрыня Никитич. В «биографиях» древнерусских богатырей былины регулярно отмечают, что каждому из них «скоро грамота далася и писать научилсся», и согласно называют семилетний возраст, с которого дети начинали обучаться в школе. Замечательно отражена в былинах и роль русской женщины: еще недавно матери плакали и причитали, отправляя детей в училище, а теперь сами «присаживают» своих чад и пером писать, и читать.

Былинные свидетельства поддерживаются не только летописными, но и житийными. Например, в житии Сергия Радонежско-

го, который вдохновил великого московского князя Дмитрия (впоследствии Донского) на вооруженную борьбу против ордынского ига, как о чем-то понятном и очевидном сообщается: «Отроча растяше /.../, дондеже достиже до седмаго лета возрастом, в егда родители его въдъша его грамоте учити» (Отрок подрастал, пока не достиг семилетнего возраста, когда его родители отдали его учиться грамоте). Описывает житие и огорчения мальчика, которому поначалу грамота «не шла в наук» и лишь позже «начати стихословити зело добре».

Методика обучения в древнерусских школах была достаточно эффективной. Берестяная грамота 199 содержит не только полную азбуку, но и слоговые склады, по которым, кстати, обучали еще маленького Алешу Пешкова. Оценивая приемы обучения чтению, исследователь берестяных грамот В. Л. Янин (см. книгу: Я послал тебе бересту... М., 1975) пишет: «Ребенку было необычайно трудно осознать, что *аз* означает звук *а*, *буки* — звук *б*. И только заучивая слоговые сочетания: *буки-аз* — *ба*, *веди-аз* — *ва*, ребенок приходил к умению читать и понимать написанное». Действительно, методика чтения «по складам» снимала магию названия буквы и быстро приводила к успеху.

Из книжного училища Владимира, вероятно, быстро вышли люди, способные сами стать учителями. Летопись сообщает, что при Ярославе уже образовалось сословие учителей, — «поставляя попы ... веля им учити люди». При нем же (а скорее всего, и до него) началось систематическое изготовление книг: «и собра писце (писцов) многы ... и списаша книги многы, ими же поучашеся вернии людье». Как видим, летопись прямо говорит, для какой цели переписывались книги.

Можно ли после сказанного удивляться, что грамотность на Руси стала массовым явлением? Недаром русской школе — тысяча лет! В. Л. Янин в названной книге справедливо подчеркивает: «Написанное слово в новгородском средневековом обществе вовсе не было диковиной. Оно было привычным средством общения между людьми, распространенным способом беседовать на расстоянии, хорошо осознанной возможностью закреплять в записях то, что может не удержаться в памяти. Переписка служила новгородцам, занятым не в какой-то узкой, специфической сфере человеческой деятельности. Она не была профессиональным признаком. Она стала повседневным явлением». Несомненно, что книжно-письменный язык обслуживал не одни церковные нужды. Мы знаем множество памятников деловой письменности, до нас дошли законоустановления и акты: договоры, кормчии, уставы (княжеские, церковные и монастырские), записи переписчиков

на книгах, грамоты разных видов. Одно перечисление видов грамот говорит о развитости жанра: челобитные, купчие, духовные, закладные, вкладные, уставные, дарственные, подтверждающие, меновые, рядные, отдельные ... Практически любой русич, в том числе и смерд, мог прибегнуть к юридическому документу, чтобы оградить свои законные права.

Чтобы читатель получил представление о прелести древнерусского обиходного письма, познакомим его с берестяной грамотой 605 (вторая четверть XII века):

«Поклоняние от Ефрема к брату моему Исухие. Не расправив, розгневался. Мене игумене не пустиле, а я прашался; нъ посылал с Асафъмъ к посаднику меду деля. А пришьла есве оли звонили. А чему ся гневаеши. А я всьгда у тебе. А сором ми, оже ми лихо мълвляше: «И поклоняю ти ся, братьче мои». То си хотя мълви: „Ты еси мой, а я твой“. Поясним содержание письма: «Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разгневался. Меня игумен не пустил, а я отпрашивался. Но он послал меня с Асафом к посаднику за медом. А вернулись мы, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всегда твой. Для меня оскорбительно, что ты так плохо мне сказал: «Я кланяюсь тебе, братец мой!» Ты бы хотя бы сказал: „Ты — мой, а я — твой!“».

И через восемь веков мы чувствуем боль нашего далекого предка: как выразительно передана печаль оскорбленного сердца и как мягко высказаны упреки. Ясно, что писал это грамотный, образованный и деликатный человек.

Хотя на берестяных грамотах преимущественно записывалась хозяйственная и другая деловая информация, все же они, как видно из послания, являются подлинными документами человеческой жизни.

Приведем еще один пример, который исследователи считают любовным заговором, «присухой»: «так ся розгори с(е) рѣце твое и тело (т)вое и д(у)шя твоя до мене и до тела до моего и до виду до моего» (грамота 521). А вот приглашение вступить в брак: «От Микити к Улиааниц. Пойди за мьне. Яз тѣбе хоцю, а ты мене. А на то послух (свидетель) Игнат Моисиев» (грамота 377). Сергей Наровчатов в поэме «Василий Буслаев» очень точно подчеркнул приметку того времени, воссоздавая жизнь господина Великого Новгорода XII века:

Иглы сосен зимой полыхают,
А когда зеленеть березе,
Парни суженым посылают
Письма, писанные на бересте.

Не одни лишь письма на бересте свидетельствуют о распространении грамотности на Руси. На стенах древних русских храмов сохранились многочисленные надписи, так называемые граффити. Хотя церковь боролась с обычаем писать на стенах храмов, все же истребить его она не смогла. Среди любителей рвать (царапать) штукатурку можно найти представителей самых различных слоев древнерусского общества. Так, строители знаменитого Новгородского собора сообщают: «Почяли делати на с(вя)-тааго Константина и Елены» (и действительно, закладка храма приходится на 21 мая, на праздник Константина и Елены). Здесь же, на стене, простая молитвенная надпись: «Г(оспод)и, помози рабу своему Нежате Иваничу». А некий Ясиг, скорбя, записал: «Ох, тощю души грешней». Женатый диакон, видимо, обремененный семейством, жалуется на житейскую неустроенность: «Ох, тощю, владыко, нету порядка дяком, а ииде сплачю? Ох, женатым дяком». Судя по обращению «владыка», несчастный безымянный дяк адресовал свою жалобу новгородскому архиепископу. Другой безымянный автор выразил свои чувства в лирическом обращении: «О душе моя! чему лежиши? чему не востанеши? чему не молишися господу своему? ... чему добро завидуеши, а сама добро не творчи?»

Очень часто граффити представляют собой автографы богомольцев Софийского храма с устойчивой формулой подписи: «Стефан писал» (личные имена в подписях меняются). Их так много, что на стенах Софийского собора представлен едва ли не весь (мужской) ономастикон: Радько, Хотець, Олисеи, Петр, Федор, Иван, Остромир, Божен, Василие, Никола, Влас, Местята, Дац, Яков, Гълеб, Михал, Домашька, Твердыта... (Более подробно о новгородских граффити как материальных свидетельствах массовой грамотности на Руси см. кн.: А. А. Медынцева. Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора XI—XIV века. М., 1978).

Писать — писали. Но читали ли? Несомненно! В берестяной грамоте 271 приятель просит другого: «Пришли мне чтения доброго». Мысль о просвещенном обществе в древнерусском государстве выражена и в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона: «Ни к неведущим бо пишемь, но преизлиха (обильно) насыштышемся сладости книжныа».

Литературный язык Кирилла и Мефодия способствовал распространению книжности и просвещения. Опередив на несколько веков западные страны, Русь уже в XI веке стала государством массовой грамотности и была «ведома и слышима всеми четырьми конци земли».



Словесность в оценке древнерусских книжников

В. В. Бычков,
доктор философских наук

Отмечая юбилеи в истории нашей культуры — 1100-летие славянской письменности, 1000-летие русской литературы, 800-летие «Слова о полку Игореве», стоит задуматься о глубинных основах нашей древней литературы, определивших ее многовековую жизненность, ее удивительную актуальность и в наши дни. Понять эти основы помогают нам сами древнерусские книжники, нередко размышлявшие о смысле и назначении своей деятельности.

Если мы внимательно вчитаемся в памятники древнерусской литературы, вдумаемся в оценки, которые сами средневековые книжники давали своему искусству, то увидим, что изначальная сила этой литературы заключена в ее яркой образности, в сознательной и последовательной ориентации на высокие нравственные идеалы, в особой мудрости древней книжности, выразившейся в

способности воплощать в конкретных словесных образах сущностные проблемы бытия, главные духовные ценности своего времени.

Книжное слово, «писание» с момента его появления воспринималось на Руси с особым чувством уважения, благоговения и почти безграничного доверия. Практически до середины XVI века почти все написанное считалось истинным уже потому, что было написано. Мудрость, открывшаяся в книгах первым русским читателям, так поразила их воображение, что книжное слово обрело в их сознании почти сакральное значение и превратилось в священный символ. Книжник было почетным званием на Руси, почти тождественным философу и мудрецу.

Соответственно и введение христианства наиболее мудрые русские люди уже в XII веке рассматривали как фактор, способствовавший активному проникновению на Русь книжной культуры. По образному выражению автора «Повести временных лет», князь Владимир землю русскую «взора (вспахал) и умягчи, рекше крещеньем просветив». Ярослав же, занимаясь активной переводческой деятельностью, «насея книжными словеса сердца верных людей, а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное» (Памятники литературы Древней Руси. М., 1982. Далее цитируется по этому изданию).

Русскому человеку того времени книги открывали духовные ценности, накопленные средиземноморской культурой за многие столетия (если не тысячелетия), и он по достоинству оценивал это, активно приобщаясь к лучшим ее достижениям. «Велика бо бывает полза от ученья книжного; книгами бо кажеми (наставляемы) и учими есмы пути покаяню, мудрость бо обретаем и въздержанье от словес книжных. Се бо суть реки, напаяюще вселеную, се суть исходяща мудрости; книгам бо есть нещцетная глубина».

Насколько плодотворно усваивалась на Руси книжная мудрость, ярко свидетельствует уже сама «Повесть временных лет» — выдающийся памятник русской словесности, ни в каком отношении не уступающий близким ему по жанру произведениям, вышедшим из-под пера крупнейших византийских писателей. На этом же уровне находятся и «Слово о законе и благодати» Илариона, и «Слово о полку Игореве», и ряд других произведений русской словесности домонгольского периода.

Искусство слова неразрывно связывалось с глубокой мыслью и мудростью уже автором «Слова о полку Игореве». Вещий поэт Боян, «аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под обла-

кы». В таких ярких образах стремится выразить автор «Слова» размах поэтического воображения легендарного Бояна. И хотя сам он не собирается следовать методу Бояна («Начати же съ тѣи песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню!»), однако не скрывает своего восхищения перед мудрым искусством «соловья старого времени»: «А бы ты сиа плѣкы ущекотал, скача, славлю, по мыслену древу, летая умом под облакы...»

Два с небольшим столетия спустя, в начале XV века, другой русский книжник Епифаний, которому современники присвоили почетное звание Премудрый, восхищался творчеством иконописца Феофана Грека, который руками пишет изображение, «а умом дальная и разумная обгадываше; чювственныма бо очима разумныма разумную видяше доброту си».

Искусство и мудрость виделись человеку Древней Руси тесно связанными, а сами термины воспринимались почти как синонимы. Искусство не мыслилось не мудрым. И это относилось в равной мере к слову. Приступая к своему труду, книжник просил у бога дара мудрости, дара слова, и эта мольба отнюдь не была только традиционной данью риторской моде своего времени. В ней заключалась истинная вера в божественность творческого вдохновения, в высокое назначение слова.

Средневековый человек знал две мудрости — человеческую и божественную и обе связывал с искусством. В идеале, по Епифанию Премудрому, настоящий писатель должен иметь первую и быть одаренным второй. К человеческой мудрости, необходимой книжнику, Епифаний относит гуманитарные науки античности, и прежде всего грамматику, риторику и философию. Без знания этих наук древнерусский книжник не считал возможным браться за перо. Общим местом поэтому в русских текстах, особенно у авторов «Житий», становится обращение к читателю с просьбой-мольбой простить их за безыскусность мысли и невежество. В настоящую похвалу писательскому делу превращается самоуничижительная мольба к читателям Епифания в начале «Жития Стефана Пермского»: «Но молю вы ся, боголюбци, дадите ми простыню, молитуйте о мне: аз бо есмь умомь груб, и словом невежа, худ имея разум и промысл вредоумен, не бывшю ми во Афинех от уности, и не научихся у философь их ни плетенна, ни ветиских глагол, ни Платоновых, ни Арестотелевых бесед не стяжах, ни философья, ни хитроречия не навыхох, и спроста — отинудь весь недоумия наполнихся» (Древнерусские предания, М., 1982).

К человеческой мудрости относит Епифаний и подготовительный труд писателя — сбор фактического материала на основе своих личных воспоминаний и опроса очевидцев событий. Так, приступая к написанию «Жития Сергия Радонежского», он собрал все то, что узнал от старцев, лично знавших Сергия в разные периоды его жизни, а также вспомнил то, что «своими очима видел, и елика от самого уст слышах». Охватив затем внутренним взором весь собранный материал, средневековый писатель ощущает, что одной только человеческой мудрости ему не хватает для осуществления грандиозного писательского замысла — он не знает, как подступиться к описанию высоких деяний своего героя: «Откуда ли начну, яже по достоинству деяния того и подвигы послушателем слышаны вся сътворити? Или что подобает пръвие въспомянуги? Или которая довлеет беседа к похвалени емь его? Откуда ли приобрящу хитрость да възможна будет к таковому сказанию? Како таковую, и толикую, и не удобь исповедимую повесть повесть, не веде, елма же чрез есть нашу силу творимое? Яко же не мощно есть малей лодии велико и тяшко бремя налагаемо понести, сице и превъсходит нашу немощь и ум подлежащая беседа».

Епифаний мастерски изображает психологию творческих исканий писателя, его страстное желание выразить в слове общественно значимые, известные ему знания: «Аще бо мужа свята житие списано будет, то от того полза велика есть и утешение вкупе списателем, сказителем, послушателем». Два желания борются в душе писателя: донести до читателя свои знания, ибо они полезны ему, или молчать, ощущая недостаточность своего писательского таланта. «О, възлюблении! Въсхотех умлъчати многыа его добродетели, яко же преди рекох, но обаче внутрь желание нудит мя глаголати, а недостойнство мое запрещаает (повелевает) ми млъчати, помысл болезный предваряет, веля ми глаголати, скудость же ума загражают ми уста, веляще ми умолъкнути. И понеже обдръжимь есмь и побеждаемь обема нуждама, но обаче лучше ми есть глаголати, да прииму помалу некую ослабу и почю от мног помысл, смущающих мя».

Средневековая вера в «божественную» одухотворенность писательского труда существенно возвышала роль и место книжного слова в культуре, возбуждала в средневековом человеке благоговение перед мудрым писательским словом, ибо, по словам Епифания Премудрого, «яко пищею тело, тако и словом укрепляема бывает душа».

В представлении человека Древней Руси любое настоящее искусство есть отображение мудрости и красоты. Художник и

книжник почитались за то, что на основе дара мудрости умели созидать красоту.

В качестве одной из главных задач своей деятельности древнерусский книжник, например, считал создание идеальных образов. Именно в этом и состояла его мудрость. Инок Фома в «Слове похвальном о великом князе Борисе Александровиче» задается целью облечь князя «честною багряницею», «в лепоту украшая его». Смысл «похвалы» как литературного жанра он усматривает в сознательной идеализации своего героя, в плетении ему «золотого венка» только из его добрых деяний. Все остальное сознательно опускается, чтобы не обезобразить чистоту венца: «Понеже бо царский венец кто хочет составити, и да собирает драгое камение бесценное, и да не примесит к светлому тому камению темнаго камения, ни иного ничего же...». Красота воспринималась на Руси как выражение истинного и сущностного. Негативные, неблагоприятные явления рассматривались как отступление от истины, как нечто преходящее, наносное, не относящееся к сущности и поэтому фактически не имеющее бытия. Искусство же, и в частности, книжное слово, в понимании средневекового человека выступало носителем и выразителем вечного.

Эта особая значимость книги в культуре, ее высокий нравственный и духовный потенциал активно поддерживались на Руси до конца Средневековья. Писатели XVII века обратили специальное внимание и на технические стороны создания «книжной мудрости». В частности, особое внимание стало уделяться грамматике как основе словесного искусства, без которой нельзя достичь совершенства ни в философии, ни в богословии. У неизвестного автора «Двострочия о грамматике» первой половины XVII века находим целый стихотворный гимн грамматике:

Аще кто философию постигнет
и чрез естественную богословию достигнет,
грамматики же не разумев, не совершенно мнитися —
кроме бо украшения вещь не удражится.

Как в храм можно попасть только через его двери, так и в мудрость можно проникнуть только через посредство грамматики:

Тако же и нам неудобно постигнути мудрость,
аще к грамматики не будет умность.

Если же удастся «отомкнуть» врата грамматики, то попадешь в самое хранилище мудрости:

тогда и внутрь комары да видиши,
и обрящеши в ней бесценное сокровище,
ему же и вседрагое земное недостойно суще

(цитируется по: А. М. Панченко. Материалы по древнерусской поэзии.— ТОДРЛ. Л., 1974).

Значение «бесценного сокровища» книга сохраняет и во второй половине XVII века в трагический период раскола русского общества, русской культуры. Известный книжник того времени, соратник Аввакума инок Авраамий трудится с глубоким убеждением, что создаваемая им книга «исполнена ползы духовныя немалы».

Сам протопоп Аввакум, обладавший прекрасным даром живого русского слова, с глубоким почтением относился к книжной мудрости, хорошо чувствовал и понимал ее животворную силу. «Всякаго добра добрейши,— писал он,— суть книжное поучение: понеже в них обретается живот вечный и радость оная безконечная».

В сложный переломный для русской культуры период XVII века, когда усилились контакты России с Западной Европой, регулярным стало влияние западноевропейской культуры на русскую, заметно возросло иноязычное воздействие на лексику русского языка. У книжников новой, никонианской ориентации в большом количестве появляются латинизмы и полонизмы, за счет чего язык их, по выражению инок Авраамия, «упестряется» («лакомят бо ся на упестренную прелесть») и утрачивает былую мудрость и спасительную силу. По этой же причине не одобряется ревнителями старины и уходящих традиций (в том числе и в языке) и демократизация книжного языка, наметившаяся в XVII веке, ярким представителем которой был тот же Аввакум.

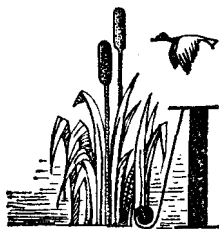
Инок Авраамий, а он в этом плане был далеко не одинок в XVII веке, активно борется за «чистоту» книжного славянского языка, показывая его красоту, духовную силу и величие. «Мнози ж ныне, гордостию превознесшися, языком словенским гнушаются, в нем же крестисяся и сподобишася благодати божия, иже широк есть и великославец, совокупителен и умилен, и совершен паче простаго и лятцакаго обретается, и имеет в себе велию похвалу».

Много событий прошумело за долгие и многострадальные века русской истории от Нестора до Аввакума и Авраамия, сменилось много идей, представлений, суждений, но постоянным и неколебимым оставалось убеждение русских мыслителей и книжников в том, что книга, книжное слово, сам язык «словенский» — хранители и носители высших духовных ценностей — исполнены глубокой мудрости и некоей невыразимой энергии, способной удерживать человека от безнравственных поступков, очистить душу его от «мерзости запустения», наставить его на путь истины и тем самым спасти для жизни вечной,



Поротва или Поротля?

В. А. Кучкин



евый приток Оки река *Протва́* под первоначальным названием *Поротва* известна давно. В русских средневековых памятниках она впервые упоминается в связи с событиями ранней весны 1147 года, когда опустошавший Смоленское княжество отец будущего героя «Слова о полку Игореве» черниговский князь Святослав Ольгович был приглашен Юрием Долгоруким на встречу в еще мало известную тогда Москву. Упоминается Протва и в летописных известиях XIII и XIV веков. В 1249 году на ее берегах в бою с литовцами погиб владимирский великий князь Михаил Хоробрит, а в 1351 году Симеон Гордый у Вышгорода на Протве заключил мир с литовским князем Ольгердом.

Перечисленные известия читаются в Ипатьевской, Новгородской IV летописях и Рогожском летописце. Во всех этих известиях дано совершенно одинаковое название реки Протвы, несколько отличное от современного: *Поротва*. Святослав Ольгович был «на усть Поротве», смоленскую землю он воевал «верхъ Поротве»; Михаил Хоробрит пал «на Поротвъ», а Симеон Гордый принял послов Ольгерда Литовского, «дошедше Вышегорода на

Поротвь». Казалось бы, не остается сомнений в том, что древнейшая форма наименования реки — *Поротва*, из которого позднее в результате сильного сокращения гласного *о* во втором предударном слоге (начальном в слове) получилось современное название *Протва*. Но если вспомнить, что список Ипатьевской летописи датируется первой четвертью XV века, к тому же веку относятся старшие списки Новгородской IV летописи, в 40-е годы XV века был написан единственный сохранившийся список Рогожского летописца, возникает мысль, а не появилась ли форма *Поротва* под пером летописных переписчиков XV века. Мысль эта укрепляется при обращении к самым ранним документам, где упоминается Протва.

Речь идет о двух завещаниях, «духовных грамотах», как говорили в старину, московского великого князя Ивана Ивановича, отца Дмитрия Донского. Духовные грамоты Ивана Ивановича были составлены до 13 ноября 1359 года, когда умер этот князь. Они, следовательно, древнее тех летописных списков, где в известиях XII—XIV веков упоминается река *Поротва*. Завещания великого князя Ивана Ивановича публиковались неоднократно. Во всех публикациях, начиная с «Древней российской вивлиофики» (1775) и кончая советским изданием «Духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV—XVI вв.» (1950) было напечатано, что Иван Иванович завещал своему племяннику, маленькому княжичу Владимиру «Новый городокъ на оусть Поротли». В грамотах пояснялось, что Новый городок находился «на сеи сторонѣ Оки». Для москвичей «ся сторона» Оки — ее левобережье. Таким образом, Новый городок был расположен по левую сторону Оки, то есть в том регионе, где протекает Протва. В списке «Городов русских, дальних и ближних», составленном в 90-х годах XIV века, Новый городок упоминается вместе с Серпуховом, Лужей и Боровском.

Серпухов расположен на Оке несколько ниже впадения в нее Протвы; Лужа — на правом притоке Протвы реке Луже, а Боровск — на самой Протве. Очевидно, что Новый городок находился в бассейне Протвы, а слова завещаний Ивана Ивановича «на усть Поротли» имеют в виду именно реку Протву, место ее впадения в Оку. Следовательно, Протва носила и другое название — Поротля, или Поротль, как обозначена она в «Указателе географических названий» к публикации 1950 года.

Из приведенных данных следует, что в XIV веке левый приток Оки назывался *Поротлей*, но в XV веке изменил свое название на *Поротву*, если считать, что последняя форма появилась под пером летописных копиистов XV века. Если же средневеко-

вые летописатели точно переписывали то, что было в их источниках, тогда нужно сделать вывод, что форма *Поротва*, существовавшая уже в XII веке и вплоть до середины XIV, довольно неожиданно сменилась на *Поротлю*. Однако с такими возможностями заключениями торопиться не следует.

Дело в том, что оригиналы духовных грамот великого князя Ивана Ивановича, хранящиеся теперь в ЦГАДА (Центральный государственный архив древних актов), как раз в том месте, где упоминается завещавшийся княжичу Владимиру Новый городок, имеют дефекты. В грамоте, изданной в 1950 году под № 4а, строки 28—30, содержащие распоряжение о Новом городке, сильно повреждены. В них наличествуют лакуны (утраты) в самом начале, отчасти в середине, а главное — в конце. От основного пергаменного листа, на котором написан текст завещания Ивана Ивановича, оторвался кусочек пергамена, содержащий окончание этих строк. Поэтому сейчас 28-я строка духовной грамоты обрывается на буквах *Порот...*, 29-я — на слове *Дмитрью*, продолжение же текста на 30-й строке начинается с букв *вану*, а кончается предлогом *по*, за которым на строке 31-й следует слово *великого*. В грамоте, напечатанной в 1950 году под № 4б, 29-я строка оканчивается буквами *Порот...* а далее текст утрачен. Но в целом в данном месте он сохранился лучше, чем в грамоте № 4а.

Издатели XVIII—XIX веков, публиковавшие духовные грамоты Ивана Ивановича, не отметили каких-либо конкретных дефектов в том месте завещаний, где речь шла о Новом городке. Хотя в общем плане утраты текстов в обеих грамотах были зафиксированы еще в 1767 году: в грамоте № 4а «в середине и по краям многих речей [слов.— В. К.] недостает», в грамоте № 4б «по обоим краям грамоты нескольких речей недостает». Однако в публикациях завещаний Ивана Ивановича была отмечена лишь единственная лакуна, из чего следует, что остальной текст был восстановлен на основании тех или иных соображений еще в XVIII веке. Интересующее нас место о Новом городке в «Древней российской вивлиофике» Н. И. Новикова в грамоте № 4а передано так: «Новый городокъ на устью Паротли, а старинная места рязанская». Сотрудники канцлера Н. П. Румянцева, выпустившие в 1813 году первую часть «Собрания государственных грамот и договоров», то же место завещания великого князя Ивана Ивановича напечатали по-другому: «Новый городокъ на усть Поротли, а иная мѣста Рязаньская...». Иначе выглядит данный фрагмент названного завещания Ивана Ивановича в публикации 1950 года: «Новый городокъ на оусть Поротли, а иная места

Р[язаньск]ая...». Наиболее близка к тексту подлинника последняя публикация, но и в ней, как можно будет убедиться далее, есть ошибки. Самые же существенные были допущены в «Древней российской вивлиофике». Само наличие ошибок во всех изданиях XVIII—XX веков свидетельствует о том, что текст в этом месте завещания Ивана Ивановича (грамота № 4а) читался с трудом. Но верно прочесть его все-таки можно. Можно и объяснить происхождение ошибок в каждом из изданий.

Текст духовных грамот Ивана Ивановича печатался Н. И. Новиковым по копиям, которые он получил от известного архивиста последней трети XVIII — начала XIX века Н. Н. Бантыш-Каменского. Копии Н. Н. Бантыш-Каменского и сейчас сопровождают оригиналы завещаний московского князя Ивана Ивановича. Но это не те копии, которые в свое время посылались Н. И. Новикову, так как в них уже исправлены многие отступления от подлинников, которые были характерны для списков с грамот, отсылавшихся для публикации в «Древней российской вивлиофике». Тем не менее и более совершенные существующие ныне копии Н. Н. Бантыш-Каменского повторили ошибки ранних его списков с завещаний отца Дмитрия Донского. В частности, в копии с грамоты № 4а о Новом городке читалось то же самое, что было напечатано в «Древней российской вивлиофике». Выясняется, что Н. Н. Бантыш-Каменский не сумел правильно прочесть окончание в слове *оусть*, поставив после *ь* по догадке *ю*, и не разобрал в грамоте слова в начале 29 строки, написав в своей копии *старинная* вместо *а иная*, как в подлиннике. Впрочем, последние три буквы *ная* он прочел правильно. Но как возникло в копии Н. Н. Бантыш-Каменского окончание *ли* в слове *Поротли*? Строка 28 (грамоты № 4а) на *ли* сейчас не оканчивается, не было этого *ли* и в начале строки 29, где Н. Н. Бантыш-Каменский читал *старинная* вместо правильного *а иная*.

Для ответа на поставленный вопрос надо обратиться к грамоте № 4б — другому завещанию Ивана Ивановича. Там, как уже говорилось, после букв *Порот...* тоже имеется пропуск. Но в отличие от грамоты № 4а здесь этот пропуск единственный. В остальном текст сохранился хорошо: «Новый город(о)къ на оусть Порот...// а иная мѣста...» В копии Н. Н. Бантыш-Каменского этот текст был передан неточно: «Новый городокъ на усть Поротли ная мѣста...». Архивист XVIII века букву *ь* в слове *оусть* принял за букву «ять», что отвечало представлениям позапрошлого столетия об окончании предложного падежа, а вместо слов *а иная* Н. Н. Бантыш-Каменский прочитал *ли ная*. Для такого чтения были некоторые палеографические основания.

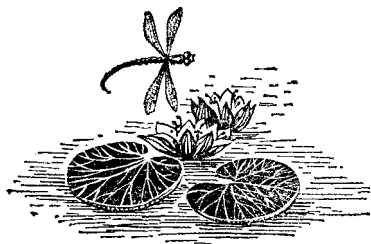
Писец духовной грамоты Ивана Ивановича некий Нестерко (он переписал оба завещания московского князя) начал строку 30 грамоты № 46 с союза *а*, и поскольку это было начало, выписал букву не совсем обычно: перекладина буквы *а* шла от низа левой ножки к правой не до конца, она обрывалась на полпути. Поэтому букву *а* можно было принять за несколько небрежно написанную (с росчерком от левой ножки) букву *л*. Судя по публикации в «Древней российской вивлиофике», где в грамоте № 46 было напечатано *Поротлиная*, Н. Н. Бантыш-Каменский первоначально конец строки 29 и начало строки 30 читал слитно. В приложенной же к грамоте № 46 его копии запись несколько иная: *Поротлиная*. Слово *иная* оказалось разделенным, буква *и* стала рассматриваться как окончание слова *Поротли*, а буквосочетание *ная* так и осталось лишненным смысла набором букв. Прочитанный в грамоте № 46 конец слова *ли* был перенесен Н. Н. Бантыш-Каменским в грамоту № 4а, и там тоже появилось *Поротли*.

Когда в начале XIX века стали готовить новое издание духовных грамот Ивана Ивановича в «Собрании государственных грамот и договоров», их текст прочитали более тщательно. В грамоте № 46 вместо *устѣ* верно прочитали *усть*, а вместо *линая* — *иная*. Но поскольку после букв *Порот...* в грамоте был пропуск, в тексте оставили то окончание *ли*, которое дал этому слову Н. Н. Бантыш-Каменский. Очевидно, публикаторы начала XIX века решили, что в XVIII веке текст грамоты читался лучше, он не имел утраты в слове *Порот...*, и Н. Н. Бантыш-Каменский копировал текст, бывший в его время в целости и сохранности. Такими же мотивами руководствовались сотрудники канцлера Н. П. Румянцева при передаче текста грамоты № 4а, поэтому сохранив и там форму *Поротли*. Точно так же поступил и Л. В. Черепнин, издавая в 1950 году завещания Ивана Ивановича по подлинникам. Он постарался обозначить все пропуски в грамотах, но заполнил их текстом из публикации 1813 года, не подозревая, что составители последней в свою очередь восстанавливали его по копиям Н. Н. Бантыш-Каменского.

Но если форма *Поротли* появилась в результате ошибочного прочтения текста архивистом XVIII века, то какое же окончание этого названия было на самом деле? В грамоте № 46 после *Порот...* уцелела незначительная верхняя часть буквы, следующей за *т*. И эта часть явно не от *л*, которую Нестерка писал с острым верхом. А в грамоте № 4а кусочек пергамента, оторвавшийся от концов строк 28—30, сохранился. Только он оказался подклеенным, когда грамоту попытались укрепить путем наклейки ее на

плотный бумажный лист, не против строк 28—30, а против строк 7—9. Поэтому все публикаторы завещания великого князя Ивана Ивановича не обращали на него никакого внимания. Текст фрагмента совершенно не укладывался в строки 7—9 и не являлся продолжением близких к ним строк, а к строкам 28—30 этот фрагмент подходит не только по тексту, но и по линии разрыва. В первой строчке фрагмента читаются буквы *вы а*. Они полностью восстанавливают 28-ю строку грамоты: «Новый городокъ на оустъ Поротвы, а // иная мѣста...». Очевидно, что и в грамоте № 4а также читалось *Поротвы*, ведь обе духовные грамоты Ивана Ивановича были написаны одним писцом — Нестеркой.

Таким образом, в завещаниях отца Дмитрия Донского левый приток Оки назывался точно так же, как в летописных статьях XII—XIV веков, — *Поротва*. *Поротль*, или *Поротля*, — это ошибочно реконструированное чтение архивиста XVIII века, которое, в отличие от другой известной описки (см.: Русская речь. 1981. № 2. С. 99—100, где рассказано о том, как из плохо прочитанной фразы «прапорщики ж такие-то в подпоручики» родился фантастический «подпоручик Киж», давший начало крылатому выражению «подпоручик Киж»), оказалось настолько живучим, что сохранилось до нашего времени.



ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«В книге Л. И. Скворцова „С. И. Ожегов“ (М., 1982) я прочел, что объем Словаря С. И. Ожегова возрастет до 60-ти тысяч слов. Когда же появится дополнительный и переработанный Словарь?»

В. И. Сосновский, пос. Коробицыно,
Ленинградской области

Как сообщили нам в издательстве «Русский язык», рукопись дополненного Словаря С. И. Ожегова находится в производстве и выходит в свет в 1988—1989 годах.

В Институте славяноведения и балканистики АН СССР под руководством Н. И. Толстого создается «Этнолингвистический словарь славянских древностей». Этот монументальный труд представляет основные формы, разновидности и жанры традиционной культуры: обряды и обычаи, верования и фольклор, отражающие дохристианские воззрения славян. По замыслу составителей, словарь должен отразить определенные результаты по систематизации и осмыслению лингвистического, этнографического, фольклорного материала, относящегося к древнейшему пласту славянской народной культуры.

Начиная с этого номера «Русская речь» намерена регулярно помещать на своих страницах отдельные статьи «Этнолингвистического словаря славянских древностей», которые, на наш взгляд, могут представлять интерес для широкого читателя.

Словарь целиком, с соответствующим научным аппаратом, будет выходить в издательстве «Наука».

Из «Этнолингвистического словаря славянских древностей»

Близнецы

Мифологическая сущность *близнецы* связана с двумя народными представлениями: с отрицательной в своей основе семантикой числа *два* и с идеей единства судьбы и даже души близнецов. Поэтому в западной Боснии полагали, что плохо для семьи (дома) и для всего села, когда рождаются близнецы, и лучше, когда один из близнецов умрет и тем самым унесет с собой все несчастье от рождения близнецов, и оставшийся избежит беды. Там же говорят: «Да је сређе не би се двоје родило!» (К счастью двойня бы не родилась!). Такое отношение к близнецам было известно в ряде других славянских зон; в Словакии, например, нередко появление близнецов воспринималось как позор или даже как кара, наказание. В южной Словакии полагали, что женщина, выгнавшая из дома нищего, родит близнецов. С этим же связан широко известный у южных, западных и восточных славян запрет беременным есть что-либо «близнецное», сдвоенное, сросшееся — плоды, яйца с двумя желтками и т. п. В частности, у сербов в Косовском Поле, чтобы не рождались близнецы, помимо такого запрета, возбранялось еще перешагивать через рало или плуг, а в средней Словакии по той же причине женщина не должна была брать два пральника для белья, класть хлебные буханки в печь так, что они могут слепиться и запечься и т. п. Сербы из Верхней Пчины были не рады, когда женщина рожала близнецов.

Но такое явление у скота считалось положительным, означающим, что будет родиться, и год будет урожайным. Подобное верование было характерно и для других славянских зон: в Словакии (район Перхова) поэтому коровам и овцам давали срощенные плоды, например сливы, чтобы у них были близнецы телята и ягнята, а у белорусов на Витебщине в XIX веке считалось, что когда в чьей-нибудь ржи обнаруживаются «спорыши», следует ожидать в доме двойню, и это плохо, но если «спорыш» отдать овце, то близнецы будут у овцы, а у хозяев их не будет никогда. Однако в некоторых болгарских зонах (Пловдивско, Велико-Тырново) рождение близнецов считалось счастьем, приносящим дому удачу, благополучие, урожай и приплод. Подобное отношение к рождению близнецов можно встретить кое-где в Полесье и в других славянских зонах.

Вера в общность судьбы и души близнецов сказывается в сербском (район Нов. Пазара) запрете присутствовать одному из близнецов на свадьбе своего брата. У боснийских сербов (район Власеницы) этот запрет распространяется и на похороны и поминки, так как, по их мнению, присутствие на этих ритуалах брата-близнеца покойника грозит ему неминуемой смертью. Болгары почти повсеместно считали, что смерть одного из близнецов может повлечь и смерть другого. По этой причине в Панагюриште исполнялся «целительный» обряд «раздвоения» близнецов: на пороге дома разрубалась топором денежка и затем половину, упавшую на двор, зарывали в могилу умершего брата, а другую оставляли в семье. В других болгарских зонах раздвигали тем, что при погребении умершего брата (сестры) в могилу ложился побратим (или побратимка) живого брата и говорил: «Умерелото не ти е брат (или сестра); от сега из съм ти брат (или сестра)» либо выбрасывал камень и говорил: «От тука пататък (-отныне) тоя камък ти е братче» (Тетевенско). У сербов в Груже (Шумадия), когда умирал один из близнецов, оставшийся в живых, чтобы не умереть следом за братом, трижды бросал в могилу по желтому цветку, произнося «Ja теби жут цвет, а ти мени бео свет!» (тут «белый свет» означает «жизнь»).

В сербской традиции известно стремление назвать близнецов близкими или почти одинаковыми именами (Драго и Драгица, Стојан и Стојанка и т. п.), и на этом основании в некоторых обрядах тезки выполняют ту же функцию, что и близнецы. У сербов и болгар к близнецам приравнивались иногда и так называемые «одномесечники» и «однодневники», то есть дети, родившиеся от одной матери или в одной семье (доме) в один и тот же месяц (день) или в один и тот же день недели, с ними

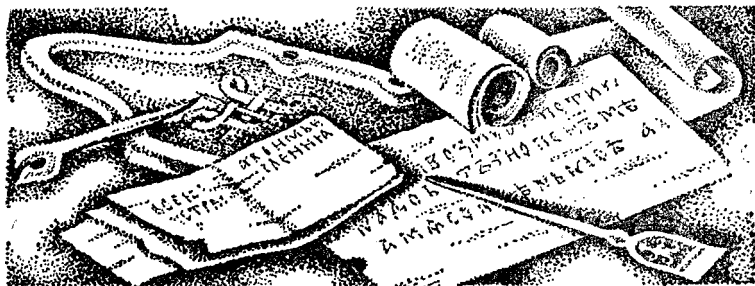
в случае смерти нужно было совершать тот же обряд «раздвоения», что и с близнецами. Так, например, разрубание топором денежки было известно в Левче (центр. Сербия), а в сербском Банате на порог, помимо денежки, клали кудель и гребень, которые трижды разрубались пополам, а половинки, соответственно клались в гроб (могилу) умершего и оставлялись живому. Кровная, единоутробная временная связь близнецов крепка и в то же время опасна, но эта же опасная связь могла направляться на защиту от внешней пагубной и смертельной силы — чумы, заразы, эпидемии, града и т. п. В сербской, болгарской, македонской, отчасти польской традиции в опахивании села почти обязательно участие близнецов. Пахали чаще всего близнецы-братья на близнецах-волах; в отдельных зонах волы эти были непременно черными (Косово и Метохия, центр. Македония — Штип), или при опахивании носили и закапывали в землю двух черных петухов одного выводка (Ласковацкая Морава), или черного цыпленка, выведшегося до Благовещения (Гружа). Опахивание с близнецами-волами и братьями было известно в северо-западной, центральной, восточной и южной Сербии, в Черногории, центральной Боснии, в северной, центральной и южной Македонии, в южной и юго-восточной Болгарии и в Добрудже среди переселенцев из Фракии, а также восточнее Софии и Пловдива. Оно сочеталось часто с обрядом вытирания живого огня, который нередко совершается также близнецами для защиты скота и людей от болезней. В южномакедонской зоне при опахивании от чумы, помимо близнецов-братьев и близнецов-волов, пользовались ралом, сделанным из двуствольного дерева («близнак рало») или двуствольной, выросшей из одного корня палкой для погоняния волов («близнак три»). В северо-западной Белоруссии и в центральном Полесье в прошлом практиковалось опахивание села от холеры или других болезней двумя близнецами-мужчинами и близнецами-волами. По этой причине полагали, что «як корова прыведзе два бычки, то треба их гадаваць». На Ровенщине от холеры ночью опахивали волами-близнецами селение три раза.

В юго-западной Сербии в районе Призрена для защиты от чумы делали обыденное полотно, которое в одну ночь должны были основать и соткать две сестры-близнецы со схожими именами (например, Стоја и Стојанка), и одновременно совершалось опахивание волами-близнецами и братом и сестрой — близнецами. В центральной Македонии (Велес) опахивание от чумы совершалось близнецами-девушками и близнецами-буйволицами. Этот редкий для южнославянской зоны случай перекликается с восточно-славянскими примерами опахивания от чумы и болезней,

в котором участвовали женщины, чаще всего вдовы, но близнецы к этому ритуалу не привлекались. В центральной, южной, юго-западной и северной Польше (зоны Серадская, Краковская, Любельская, Куяны и др.) хлебные поля опаживались волами-близнецами для предотвращения градобития. В зоне Тарнова и Жешува в XIX веке помнили, что с той же целью поле опаживали телками-близнецами. В этом локальном польском обряде так же, как и в некоторых македонских и восточно-славянских выступает женское начало. Мужское начало, а именно близнецы-пахари и близнецы-волы, особенно характерны для балканской, точнее сербско-болгарско-македонской традиции. Она могла быть поддержана или даже непосредственно связана с античной — греческой и римской традицией опаживания с близнецами, отмеченной еще Плутархом, отраженной в легенде об основании Рима близнецами Ромулом и Ремом и продолженной в Византии.

Ряд поверий, связанных с появлением близнецов, с их судьбой, судьбой семьи и ее достатком бытовал в Полесье. В некоторых полесских зонах полагали, что рождение близнецов приносит радость и даже прибыль в хозяйстве (Сварицевичи, Дубровницк. р-н Ровенской обл.), в иных, наоборот, считали, что «двойнята никогда не будут жить, — один обязательно умрет» (Новинки, Калинковичск. р-н Гомельск. обл.), либо, если родятся близнецы, «отец или мать умрет» (Спорово, Березовск. р-н Брестск. обл.). Иногда это суеверие связывали с числом календаря — «если близнецы родятся в четное число, судьба их будет счастливой, а если в нечетное число родится мальчик и девочка, один из них обязательно умрет» (Сварицевичи). В этом случае важными признаками выступают четность числа и единство пола. По некоторым представлениям, единство (неединство) пола решительно влияет на судьбу: «Если рождаются близнецы мальчик и девочка — счастья им не будет; они умрут, а если родятся близнецы-мальчики или близнецы-девочки, они оба будут жить долго и счастливо» (Луково, Малоритск. р-н Брестск. обл.). В соседнем селе на рождение близнецов — мальчика и девочки смотрели менее трагично. Там этот факт, якобы, лишь указывал на то, что близнецы больше не будут рождаться, а рождение близнецов-мальчиков и близнецов-девочек предвещало новое появление близнецов на свет (Орехово, Малоритск. р-н Брестск. обл.). Отрицательная мифологическая сущность близнецов ярко выражена в поверии, что близнецы появляются в результате их зачатия в канун Дедов, то есть в дни, когда не следует быть на супружеском ложе.

Н. И. Толстой



«ТО СИ ХОТЯ МОЛВИ»

Об одном стилистическом приеме
в древнерусских памятниках XII—XIII вв.

О. М. Анисимова

«Поучение» Владимира Мономаха (особенно его «Письмо» к Олегу Святославичу), «Слово» и «Моление» Даниила Заточника среди памятников XII—XIII веков выделяются страстностью и конкретностью личного обращения к читателю. Такая особенность «Поучения» Владимира Мономаха и «Слова» Даниила Заточника, возможно, объясняется реальными жизненными драматическими ситуациями, лежащими в основе памятников и явившимися причиной их написания. Все эти памятники представляют собой как бы послания-письма XII—XIII веков. Элемент эпистолярной направленности в них очень силен и связан с какой-то бытовой, возможно, устной традицией (XII в.). Сочетание книжных и устных истоков в «Поучении» Владимира Мономаха и «Слове» Даниила Заточника подчеркивалось во многих исследованиях. Некнижную традицию прослеживали в отдельных тропах и «мирских притчах», выдвигались различные гипотезы (например, скоморошеский стиль). Однако конкретных параллелей почти не приводилось (так как записи фольклорных текстов поздние, и в этом сложность проблемы).

Интересным источником в этом плане могут быть берестяные грамоты: с одной стороны, точно датированные (XII—XIII вв.), а с другой — являющиеся уникальными образцами широко распространенной бытовой переписки. Привлечение их текстов позволяет не только поставить выдающиеся художественные памятники в связь с городской культурой XII века, но и прояснить

оригинальные истоки и художественную целесообразность композиции «Слова» Даниила Заточника, которую многие филологи XIX века по аналогии с переводными памятниками часто называли то «нескладной болтовней» (В. М. Гуссов), то «набором изречений и пословиц на различные темы» (Ф. И. Буслаев).

Итак, в берестяных грамотах встречается крайне интересный композиционный прием, который заключается в приведении возможных, воображаемых автором, слов адресата (желательных или нежелательных). Автор послания как бы воспроизводит ответную реакцию собеседника при помощи слов: «то си хотя мълви» (ты бы сказал).

Грамота 605, датированная второй четвертью XII века, нам сообщает о том, как некий монах Ефрем, оскорбленный словами другого монаха, ответил ему: «То си хотя мълви: ты еси мои, а я твои».

По грамоте 531 рубежа XII—XIII веков можно проследить процесс возникновения этого приема из нужд бытовой переписки. Так, в одном из таких посланий на бересте Анна просит брата похлопотать о своем деле перед неким Константином и спросить его при свидетелях, почему он ее оскорбил:

«Аже ти возомолови Коснятино: «Дала руку (ручалась) за зяте». Ты же, браце господине, молови емо тако: «Оже буду люди (свидетели) на мою сестру, оже буду люди, при комо дала руку за зяте, то те я во вине...» то есть коли будут свидетели вины моей сестры, то виновата.

Это своеобразный вымышленный диалог, когда автор домысливает и переделывает по своему желанию слова адресата, встречается и в летописи. В 1078 году летописец записал о том, что князь Изяслав не сказал своему брату те слова, которые, по мнению летописца, мог бы ему сказать: «В лето 1078. Не рече бо ему: колико зла створиста мне и се ноне тебе ся склучи (то же теперь и с тобой случилось), не рече: се кроме меня, но се ся перея печаль братню, показал любовь велику», т. е. не сказал — не мое дело, а взял печаль брата на себя, помог ему, чем и проявил свою любовь (Повесть временных лет). Здесь вводится предполагаемая речь князя, которая могла быть им сказана.

В «Поучении» Владимира Мономаха этот прием повторяется и приобретает художественный смысл. Вымышленный диалог с адресатом, настойчивое обращение к нему и воспроизведение возможных его слов проявляется и в начале «Поучения». Мономаха особенно волнует приятие или неприятие его труда читателями, детьми или «инъ кто». Он хочет вызвать у них определенную словесную реакцию на свою «безлепицу»: «Аще ли кому

не любя грамотица си, а не поохритаются (не посмеются), но тако се рекуть: на далечи пути, да на санех седа, безленицу си молвил».

В письме к Олегу Святославичу в трагической ситуации гибели сына и отказа от мести за него Владимир Мономах строит свое послание так же. Он домысливает себе те слова, которые должны были быть сказаны, по его мнению, Олегом: «Егда же убиша детя мое и твое пред тобою, и реши бяше»: «Увы мне! Что створих? И пождав его безумия (воспользовавшись его неразумием) света сего мечетнаго кривости ради (света сего суетного неправды ради) налезох (нажил) грех себе, отцю и матери слезы». И далее: «И не створиша есве лиха ничтоже, ни рекла есве: сли (пошли) к брату, дондеже уладимся».

Подобное же воспроизведение предполагаемых речей адресата является также одним из композиционных принципов «Слова» и «Моления» Даниила Заточника. Даниил приводит возможные речи князя и тут же опровергает их, вступает с ним как бы в мысленный диалог и полемику. И это каждый раз позволяет ему ввести дополнительный новый сюжет и множество изречений.

«Или ми речеши от безумия ми еси молвил. То не видал есмь неба полстяна (холстяного), ни звизд лутовяных (из лучинок), ни безумнаго, мудрость глаголющъ. Или ми речеши: солгал еси аки пес. Добро(го) бо пса князи и бояре любят. Или ми речеши: солгал еси аки тать, аще бых украсти умел то толко бых к тебе не скорбил». «Или ми речеши: „Женися у богата тестя чти великиа ради, ту пии и яжь.— Ту лепше ми вол бур вести в дом свои, неже зла жена поняти...“»

В «Молении» же Даниила Заточника при помощи этого же приема приводится еще один возможный вариант жизненного пути автора: «Или речеши, княже, пострищися в чернецы. То не видал есмь мертвеца на свиниа ездячи, ни черта на бабе, не едал есми от дубья смоквеи, ни от липья стафилия (изюма)» и т. д.

Мы видим, как в «Слове» и «Молении» Даниила Заточника воображаемый диалог с адресатом становится объединяющим композиционным принципом. Этим они отличаются от переводных сборников типа «Пчела», с которыми сближали «Моление» Даниила, где композиционный стержень совершенно иной: «изречения подбираются или по темам, ими выражаемым, или по авторам, которым они приписаны, или даже просто по алфавиту... каждая глава сборника или весь сборник представляет из себя нечто вроде нитки, на которую навязаны бусы, каждое изречение представляет из себя отдельное, связанное с соседним только внешним образом, идеей подбора, будет ли это какой-нибудь

правственный принцип, имя автора, или просто алфавит» (М. Н. Сперанский. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности. М., 1909).

Широкую распространенность традиции писем-посланий подтверждает и то, что указанный ранее художественный прием встречается и в послании епископа Симона монаху Поликарпу в Киево-Печерском патерике: «Ни скоро подвигнися па гнев, но пад (упадя) поклонися брату до земли, глаголя: «прости мя, брате...». Или: «Но ты никакo съдрогнуся, иде же бо подоба (как следовало бы) реща: «Благо мне, яко смирил мя еси, да научюся оправданием твоим».

Итак, воображаемый диалог с адресатом представляет собой распространенный в древнерусских памятниках XII века композиционный художественный прием. Он встречается в «Поучении» Владимира Мономаха, «Слове», «Молении» Даниила Заточника, «Послании Симона к Поликарпу», летописи, берестяных грамотах XII—XIII веков. Наличие его в текстах берестяных грамот доказывает, что и в «Поучении» Владимира Мономаха (Лаврентьевская летопись, 1377 г.) и в списках «Слова» Даниила Заточника (XVI—XVII вв.) сохранена стилистика XII века, которую грамоты отражают непосредственно. Это говорит и о том, что в художественной жизни XII века существовала традиция писем-посланий со своими стилистическими и композиционными приемами.

«Помчаша красныя девки половецкыя...»

Л. Ф. Фролова

В современном русском литературном языке для наименования человека по признаку возраста употребляются слова, обозначающие лиц мужского и женского пола в разные периоды их жизни: *мальчик, девочка, юноша, девушка, старик, старуха* и др.

Целый ряд однокоренных слов *дева, девица, девка, девушка, девочка, девчонка*, обладающих различной эмоциональной, стилистической окраской используются в русском языке для обозначения молодой девушки.

Основным, стилистически нейтральным и широкоупотребительным в наше время является слово *девушка*, которое в письменных источниках отмечается впервые только в конце XVII века.

По данным письменных памятников, со значением «молодая девушка» в древнерусском языке использовались однокоренные слова *дева*, *девица*, *девка*, в употреблении которых наблюдалась четкая жанрово-стилистическая дифференциация.

Как известно, большинство сохранившихся письменных памятников старшего периода развития русского языка были переводными и религиозными по содержанию, в них встречаются общеславянские по происхождению слова *дева* и *девица*, имеющие соответствия в болгарском, чешском, македонском и других языках. «Глагола Полеми: то кде обрящем такову деу, или кто възможет сътворити? Отвеща друг ему: есть в девицах Афины едина зело добра же разумична, все риторьское учение извыкъши, и время ей есть уже на посяганіе» (Великие Минеи Четьи, XVI в.).

Форма *девка* встречается преимущественно в летописях, грамотах, договорах, произведениях устного народного творчества, что свидетельствует, на наш взгляд, о народно-разговорном источнике происхождения данного слова: «Он же хотел оу рать ити девкы купити» (Грамота Рижан к Витебскому кн. Михаилу Константиновичу об обидах, около 1300 г.).

Интересным представляется использование данных слов в известном памятнике древнерусской литературы — «Слове о полку Игореве» (М., 1979): «Се бо готьскыя красныя девы възспеша на брезе синему морю»; «Помчаша красныя девкы половецкыя»; «Аще его опутаев красною девицею, ни нама будет соколца, ни нама красна девице».

Как видно из примеров, все три слова *дева*, *девица*, *девка* употребляются в сочетании с прилагательным *красная*, имеющим в древнерусском языке значение «красивая», и являются синонимичными в значении «лицо женского пола юного возраста».

В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (СПб., 1893), отразивших лексику письменных памятников эпохи Киевской Руси, слово *девка* зафиксировано в значениях: «дева» («Помчаша красныя девкы половецкыя»), «невеста» («Князь велик и велел тебе говорити, что у князя Исаика дочи, мне бы пожаловати та его дочка взяти за своего сына; ино боярин мои Никита девку видел»), «дочь» («Король же не вдасть девкы своей Ростиславу»).

Многозначность данного слова, употребление в народно-поэтической речи в сочетании с постоянным эпитетом *красная* указывают на то, что *девка* не имело какого-либо эмоционально-экспрессивного оттенка и широко использовалось в разговорной речи для обозначения молодой девушки,

В XV—XVII веках происходит расширение объема смыслового содержания слова *девка*, у которого появляется значение «прислуга, дворовая женщина», связанное со становлением на Руси феодально-крепостнических отношений.

В памятниках деловой письменности XV—XVII веков *девка* часто употребляется в сочетании с прилагательными *крестьянская*, *крепостная*, *дворовая*, то есть с указанием на социальное положение лица женского пола, достигшего определенного возраста — юности: «...бежала от государя моего ис села Дедова дворовая девка Марфутка Маркова дочь» (Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край. М., 1984); «А от кого сбежит кабальные и инья крепостныя девки, и вдовы, и крестьянские дочери...» (Соборные уложения царя Алексея Михайловича 1649 г.— Памятники русского права. М., 1957).

В разговорной речи представителей привилегированных сословий слово *девка* выступает со значением «служанка», развившимся из сочетаний *крепостная девка*, *крестьянская девка*, *дворовая девка*: «Тотчас обед готов будет, девка, стели скатерт...»; «Вели девку постелу слать и чистие простыни класть» (Ларин Б. А. Русская грамматика Лудольфа 1696 г. Л., 1937).

Анализ памятников периода формирования великорусской народности показывает, что употребление рассматриваемых возрастных наименований обусловлено уже не только жанром произведения, но часто связано с темой высказывания: если речь идет о молодых девушках привилегированных сословий, то используются *дева* и *девица*, а *девка* употребляется по отношению к лицам, стоящим на низшей ступени социальной лестницы: «А после его (царя Бориса) остались жена его царица Марья, да сын его Федор, да дочь его сущая дева» (Памятники древнерусской письменности, относящиеся к Смутному времени. СПб., 1891); «Аннушка приказала, чтоб она ехала ко всем дворянам... у которых дворян имеются дочери девицы» (Фрол Скобеев, XVII в.); «Отпускная память крестьянской дочери девке Евдокии Ивановой».

Кроме того, контексты примеров употребления слова *девка* свидетельствуют о том, что оно приобрело оттенок пренебрежительности, уничижительности, который развился в «условиях феодализма, особенно за период XVI—XVII веков, у личных имен на *-ка*» (Дементьев А. А. Очерки по словообразованию имен существительных в русском языке), преимущественно в разговорной речи: «А он окаянный еретик Гришка Отрепьев женился в Подше у пана Юрья Сердоминскаго взял дочь его девку, именем Маринку» (Памятники Смутного времени),

В конце XVII — начале XVIII века в формировании словарного состава русского литературного языка на национальной почве участвуют самые различные языковые источники: книжная и народно-поэтическая речь, живое разговорное просторечие и заимствование слов из других языков.

Лексический состав языка в это время очень подвижен — одни слова исчезают из употребления совсем, у других появляются новые значения. В языке возникают также новые слова, образованные посредством собственно русских суффиксов, что свидетельствует о расширении и активизации словообразовательных возможностей русского языка.

Наибольшей активностью в образовании новых слов отличался суффикс *-ушк(а)*, обладающий ярко выраженным оттенком ласкательности. Характерные для произведений устного народного творчества слова с этим суффиксом встречаются в памятниках письменности самых различных жанров, в деловой прозе и в произведениях светской литературы.

Слово *девушка* возникло в эмоционально насыщенной живой народной речи путем присоединения суффикса *-ушк(а)* к корню слова *дев-* и использовалось в функции возрастного определения.

В деловой письменности оно выступает в сочетании со словом *боярышня*, имевшем в то время значение «девушка знатного происхождения, исполняющая определенные обязанности при дворе» (Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975). «Федор Алексеевич указал... девушкам боярышням и карлице свое великаго государя годовое денежное жалованье... выдать» (Сборник выписок архивных бумаг Петра Великого, 1681 г.).

Как и слово *девка*, *девушка* в народно-поэтической и разговорной речи употребляется со значением «служанка»: «Посылала девушку-чернавушку По того Василия Буслаева. И тут девушка-чернавушка... Коромыслом тем стала она помахивати, по тем мужикам Новгородским. Прибила уж много до смерти. И тут девка запыхалася. Побежала ко Васплюю Буслаеву» (К. Давилов. Василий Буслаев); «А которая у меня девушка грамоте умеет, посылает к вам тетрадку» (Переписка царицы Прасковьи Федоровны и дочерей ее, 1716—1733 гг.).

Яркость эмоционально-экспрессивной окраски способствовала широкому распространению слова *девушка* в роли обращения: «Неумолков: Слушай же, девушка, ты уже очень дерзновенна, и эдакия поступки тебе не приличны» (В. Лукин, 1765 — Картошка древнерусского словаря); «Егерь: у себя ли, девушка, господин ваш? Знаешь ли ты, девушка, что я в тебя смертно влюбился» (Сумароков, Рогоносец по воображению); «Лиза показала

ему цветы и покраснелась. „Ты продаешь их, девушка?“ — спросил он с улыбкою» (Карамзин. Бедная Лиза).

В «Словаре Академии Российской» (1789—1794 гг.), впервые отразившем стилистическое расслоение лексики, *девушка* толкуется как приветственное название девушек, девиц, а *девка* отмечено как «употребляемое в просторечии и значащее: то же, что и *девица*; иногда означает то же, что *служанка*».

Наши наблюдения показывают, что ранее социально и стилистически ограниченные в употреблении слова *дева*, *девица*, *девка* и *девушка* в произведениях художественной литературы XVIII века используются уже как равнозначные в функции возрастного наименования, что свидетельствует о наличии тенденций к «слиянию лексики разных генетико-стилистических пластов» (История лексики русского литературного языка конца XVII—начала XIX века. М., 1981). «Учатся за морем и девки, за морем того не болтают: Девушке-де разума не надо, Надобно ей личико да юбка...» (Сумароков. Другой хор ко превратному свету); «Пляшут девушки российски Под свирелью пастушка... Коль бы видел дев сих красных, Ты б гречанок позабыл» (Державин. Русские девушки); «и выйде девка по воду в сад со златым кубцом и рече Соломанъ: дай же ми, девица, из сего кубца испити» (Ложные и отреченные книги, сп. XVII—XVIII вв.).

Однако в рассматриваемый период намечается уже смысловая дифференциация слов одного и того же источника происхождения — народно-разговорной речи. Слово *девка*, имевшее длительную традицию употребления в языке простого народа в значении «лицо женского пола в период юности», функционируя со значением «служанка», приобрело социально-обусловленный пренебрежительный оттенок и стало использоваться для выражения прерзительного отношения к лицам женского пола. Экспрессивная значимость способствовала сдвигу в смысловой структуре этого слова, и оно приобрело значение «женщина легкого поведения». «Кто не знает Валдайских баранок и Валдайских разумыянных девок? Наглыя Валдайския девки останавливают всякого проезжающего...» (Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву).

Широкое использование в языке слова *девушка* в роли обращения способствовало закреплению его в письменной речи как нейтральной языковой единицы.

В языке произведений А. С. Пушкина, которому принадлежит «исключительно важная роль в определении границ использования генетически различной лексики в литературном языке» (История лексики русского литературного языка конца XVII — начала XIX века, М., 1981), слово *девушка* выступает уже как ней-

тральное средство для обозначения возраста лица женского пола: «А девушке в семнадцать лет Какая шапка не пристанет!» (Пушкин. Руслан и Людмила).

Если в языке деловой письменности XVII века возможно было употребление сочетания *девушкам боярышням*, то пример употребления данных слов Пушкиным свидетельствует о том, что в XIX веке лексические единицы *девушка* и *барышня* (из *боярышня*), будучи синонимами в значении возрастного наименования в классово неоднородном обществе, служат для дифференциации лиц по их положению: слово *барышня* используется для обозначения молодой девушки из богатой дворянской семьи, а слово *девушка* употребляется по отношению к молодой служанке.

Углубление процесса социальной дифференциации общества обусловило использование языковых средств в роли обращения, которое в тот период было «строго регламентировано, соответствовало социальному рангу людей» (см. об этом: Л. И. Скворцов. Язык и время.— Литературная газета, 1984, 13 июля), и слово *барышня* было самым широкоупотребительным в роли обращения к молодым лицам женского пола: «Здравствуйте, барышня!— невесело поздоровался Шамов. ... Пятеро придут, только видятя ли, барышня...» (М. Горький, Солдаты).

Девушка употреблялось преимущественно в обращении к служанке или лицу женского пола низкого происхождения: «Не носить тебе, девушка, платья цветного, Не любить тебе, девушка, парня браваго» (Великорусские народные песни).

В современный нам период развития языка в употреблении возрастных наименований — с корневой морфемой *дев* — *дева*, *девица*, *девка*, *девушка* произошли существенные изменения.

Слова *дева* и *девица*, обладавшие стилистической стабильностью употребления в книжно-письменном языке, приобрели архаическую окраску и современными словарями отмечаются как устаревшие.

Народно-разговорные слова *девка* и *девушка* разошлись в сфере употребления: слово *девка* используется в просторечии с фамильярным оттенком, а *девушка*, утратив значение «служанка» (современным носителям русского языка оно незнакомо) и став однозначным, является нейтральным в стилистическом отношении и отличается высокой частотой употребления.

Душанбе



Ближнее Подмосковье: НЕМЧИНОВКА

В. В. Цоффка,
кандидат филологических наук

С интересом смотрю виды старой Немчиновки,
с интересом читаю сведения по ее истории...

Академик Д. С. Лихачев

В известной поэме Давида Самойлова «Ближние страны», посвященной боевым товарищам, победоносному шествию нашей армии по странам Европы, возвращению солдат после Победы домой осенью 1945 года в Москву, на Белорусский вокзал, читаем:

А навстречу бежали уже
Нам знакомые всем до единого
Одинцово, Двадцатка, Немчиново,
Сетунь, Кунцево. Скоро Филя!
Мост. Москва-река в снежной пыли.
И внезапно запел эшелон.
Пели в третьем вагоне: «Страна моя!»
И в четвертом вагоне: «Москва моя!»
И в девятом вагоне: «Ты самая!»
И в десятом вагоне: «Любимая!»
И во всем эшелоне: «Любимая!»

Пели дружно, душевно, напористо
Все вагоны поющего поезда.
Паровоз отдышался и стал.
Вылезай! Белорусский вокзал!

За каждым из приведенных в стихах названий стоит своя история. Рассмотрим одно из них — *Немчиново* (*Немчиновка*).

В географическом словаре Московской области «Все Подмосковье» читаем: «Немчиновка, дачный поселок... в районе Московского лесопаркового пояса, у платформы Немчиновка Белорусского направления... вблизи кольцевой автостреды. Возник в 1897 г. Через поселок протекает речка Чаченка».

В разговорной речи название поселка *Немчиново* стало приобретать форму *Немчиновка*. Также *Немчиновкой* назывался существовавший в Москве любительский театр московских негоциантов М. А. и С. А. Немчиновых на Поварской улице (ныне улица Воровского), в доме № 8 (был снесен при прокладке Калининского проспекта). Об этом театре рассказывается одним из самых известных журналистов конца XIX — начала XX века — В. М. Дорошевичем (см.: Дорошевич В. М. Избранные страницы. М., 1986 — глава «Уголок старой Москвы»).

Фамилия Немчиновых запечатлела старинную форму названия всех иностранцев в России — *немчин*, т. е. чужеземец, человек, говорящий нелепо, непонятно, всякий иностранец с Запада. Со временем фамилия Немчинов стала известной, распространенной: в «Ономастиконе» (Древнерусские имена, прозвища и фамилии) С. Б. Веселовского (М., 1974) дважды упоминается эта фамилия — Мордвин Немчинов (1580 г., Нижний Новгород) и Немчинов Исаак Григорьевич (1606 г., Нижний Новгород).

Своему возникновению Немчиновка обязана Московско-Брестской железной дороге, открытие которой состоялось осенью 1870 года, и братьям М. А. и С. А. Немчиновым, которые стали строить платформу и пристанционный дачный поселок вдоль железной дороги.

Платформа получила название *Немчинов-пост* (или *Немчиновский пост*), а прилежащий к ней поселок — *Немчиново*, как и находящаяся неподалеку деревня *Немчиново*. Пройдет много лет, прежде чем *Немчинов пост* и поселок *Немчиново* изменятся в нынешнее название *Немчиновка*, которое станет официальным, объединяющим наименованием для поселка и платформы. Это произойдет в 30-е годы. Наименования *Немчиново* и *Немчиновка* отражают два типа оформления антропонимов (имя, фамилия, прозвище человека, лежащие в основу обозначения данного населенного пункта) в русском языке.

Промышленное освоение этих мест началось братьями Немчиновыми в конце второй половины XIX века, по-видимому, с деревни Немчиново у реки Сетунь, в двух верстах от Смоленского (ныне Можайского) шоссе, в двух с половиной километрах от железной дороги. Об этой деревне идет речь в рассказе Е. Богданова «Двойник», опубликованном в журнале «Новый мир» (1987. № 3): «Немчиново была родная деревня Пауля — Павла Ледкова...» Действие рассказа происходит в разведшколе абвера накануне капитуляции Германии, в современной Москве и современной нам деревне Немчиново.

Долгие годы был связан с Немчиновкой всемирно известный художник К. С. Малевич (1878—1935). Малевичу как старожилу Немчиновки посвятил свой рассказ «Немчинов-пост» (1939) выдающийся советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн.

Через поселок Немчиновка протекает речка *Чаченка*. Откуда название у маленькой немчиновской речонки? В русских говорах есть слово *чача*, *чачка* «тятя, отец». Но зафиксировано оно очень далеко от наших мест — на Камчатке. Поэтому возникает вопрос: не ошибочное ли наименование *Чаченка*?

Если обратиться к книге известного географа А. Борзова «Географические экскурсии в окрестностях Москвы» (М., 1925), то там мы встретим, видимо, правильное название речки: «...нужно от станции Кунцево по железной дороге доехать до Немчиновского поста и от него пройти до сел Верхнего и Нижнего Ромашкова, лежащих по обе стороны маленького притока реки Москвы, речонки Чагинки. Это в сущности маленький ручеек, который во многих местах легко перепрыгнуть, но какую глубочайшую долину прорыл он себе, какую огромную работу он произвел и продолжает совершать!» Следует отметить, что для А. Борзова название *Чагинка* не является случайным. Оно повторяется в книгах: Борзов А. и Семихатова Л. «Географические экскурсии под Москвой» (М., 1933); Борзов А. А. «Географические экскурсии по Москве и окрестностям» (М., 1950). Видимо, при воспроизведении названия речки была допущена досадная описка. Переписчик или наборщик текста принял букву *г* за *ч*.

Стало быть, исходной формой этого слова может быть *чага* (*чаги*) «грибной прирост на березе, обладающий лечебными свойствами», «березовый гриб».

Пословица не клинок, а колет в бок

П. Ф. Лебедев,
кандидат филологических наук, писатель



За годы войны и послевоенный период мной собрано до семи тысяч партизанских и фронтовых пословиц, поговорок, крылатых слов. Многие из них были сказаны мимоходом, применительно к содержанию той или иной беседы и, конечно, без претензии на самостоятельное существование и особую популярность. Они сохраняются в памяти.

Как-то в марте 1942 года в брянском селе Невдольске, находившемся в центре большой

партизанской зоны, остановился отряд курских партизан (кстати сказать, это село расположено в сравнительной близости от Курской и Сумской областей, и через него проезжали партизаны из разных мест).

В селе быстро узнали о приезде нового партизанского отряда, и многие жители, особенно молодежь, высыпали на улицу, чтобы «посмотреть на курян». У одной избы собралась большая толпа, а в центре сидели три партизана, успевшие завести беседу с людьми. Партизаны оживленно рассказывали о боевых успехах своего отряда, о том, как на курской земле разгорается пламя партизанской войны. *Если приходит вор — куряне берут топор,* — сказал один из них и, лукаво прищурившись, посмотрел на своего товарища. Тот не заставил себя ждать и сказал: *Курские топоры дождались поры.* Третий партизан тоже не остался в долгу и к сказанному его товарищами тут же добавил: *Партизанский топор на дела спор.* В толпе засмеялись, удивленные неожиданной складностью этих фраз.

Вскоре принесли гармошку, и партизаны кое-что сыграли и спели из местного репертуара. «Прилетели курские соловьи», — кто-то нарочито громко сказал в толпе. Партизаны не растеря-

лись, и один из них, выждав момент, сказал: *Курские соловьи тогда поют, когда партизаны фашистов бьют*. Эта фраза также прозвучала поговоркой, и многие переглянулись.

Когда партизаны собрались уходить, стоявшие здесь местные жители стали тепло благодарить их за беседу и умелую игру на гармошке. *Без гармонистов не бьют фашистов*, — развели в ответ руками бойцы.

А в толпе долго еще обсуждали встречу с курскими партизанами. *Очень уж речисты у них гармонисты*, — как бы мимоходом заметил один старожил. Этой фразе, как и многим другим крылатым выражениям, вскоре суждено было стать основой поговорки, получившей известность среди населения партизанских зон: *У партизан гармонисты храбры и речисты*.

Курские партизаны уехали тогда не сразу, и кое-кому из местных жителей удалось прочесть их боевой листок, который назывался «Партизанский клич». Там среди коротеньких партизанских заметок имелось до трех десятков местных пословиц и поговорок. Многие из них были созданы на темы партизанской борьбы и бросались в глаза особой выразительностью.

А вот еще пример. Организуя оборону одного из сел Суземского района Брянской области, партизаны решили использовать церковь как опорный объект. За церковной оградой было решено установить пушку, а на колокольне — тяжелый станковый пулемет. Эти огневые точки беспощадно косили наседавшего врага. Когда же гитлеровцы подкатили орудие для стрельбы прямой наводкой, партизан уже не было; они благополучно отступили. Враг понес большие потери.

Этот бой у сельской церкви был лишь эпизодом в боевой жизни брянских партизан, но он стал «исходным пунктом» местной народной поговорки: *Теперь и божья обитель — мститель*. Сама поговорка, как видим, имеет характер шутки, но факт ее рождения поучительный: она возникла в бою, на основе конкретного боевого случая. И опять же: если взять эту поговорку в «голом виде», то она может вызвать лишь недоумение. А если ее рассмотреть в непосредственной связи с породившим ее фактом, она наполняется определенным смыслом.

Таким образом создавались меткие выражения и на фронте. Однажды дивизионная газета «За правое дело» опубликовала в разделе «На досуге» обращение к бойцам: назвать русские пословицы с числительным *семь*. Воины одного из подразделений стали наперебой называть: *Семь бед — один ответ*, *Семеро одного не ждут*, *Семь раз отмерь — один раз отрежь*.., и тут молчавший до этого солдат Гришин произнес новую, им самим придуманную

пословицу: *Один раз выстрели — семь фашистов убей*. Это меткое боевое присловье всем понравилось и было принято на вооружение армейских агитаторов.

Когда летом 1943 года на Орловском направлении орудие старшего сержанта Дорохова уничтожило четыре тяжелых фашистских танка новой системы «тигр», то этот мужественный воин сказал: *Не так страшен «тигр», как его малюют немцы*. С тех пор на фронте стали говорить: *Тигр молодец против овец, а против молодца — сам овца*.

В армии и в партизанских отрядах большое значение имел личный авторитет командира. Хорошему командиру старались подражать, к его словам прислушивались с должным вниманием. И нередко совет или мнение командира, высказанное в лаконичной образной форме, приобретало значение крылатого слова или поговорки.

В начале войны в одном танковом училище работал поваром опытный в своем деле старик. Начальнику училища не хотелось его отпускать, но возраст есть возраст. Позже в училище перебывало несколько поваров, к сожалению, не отличавшихся особым мастерством. Начальник не мог забыть опытного кашевара и однажды на собрании офицеров сказал: *Хороший повар в части — солдатское счастье*. Эта фраза быстро стала достоянием училища, а затем перекочевала на фронт, превратившись в солдатскую поговорку.

Были и такие случаи на фронте, когда пословицы и поговорки создавались в момент коллективного чтения художественной литературы, особенно поэтических произведений.

Вот один эпизод из боевой жизни подразделения старшего лейтенанта Дмитрия Калачикова.

Однажды на привале кто-то из бойцов начал читать лермонтовскую «Родину»:

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям...

Сразу же завязалась оживленная беседа. Один вспомнил лесную Брянщину, другой — Украину и Днепр, а третий стал рассказывать о Сибири. И, конечно, каждый из участников беседы хотел отличиться перед товарищами образным, метким словом. Можно привести отдельные образцы тех пословиц и поговорок: *Днепр — наш батюшка, а Волга — магушка, Лучше Сибири нет земли в мире, Брянские леса — России краса*.

В годы Великой Отечественной войны пословицы и поговорки, меткие выражения становились и острым идейно-политическим оружием, придававшим бодрость бойцам, способствовавшим уничтожению врага. Недаром войны говорили: *Пословица — ратному делу пособница, Пословица не клинок, а колет в бок.*

*Балашов,
Саратовской области*

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Что означает фамилия *Марáкшин*?»

И. Овидов, Люберцы

В вологодских, пермских, вятских, саратовских говорах русского языка *марáкать* значит некрасиво, неразборчиво писать, плохо, с трудом читать. Фамилия *Марáкшин*, скорее всего, произошла от прозвища **Марáкша* (поскольку это слово не засвидетельствовано ни в диалектных словарях, ни в словарях современного русского литературного языка, мы помечаем его звездочкой). Оно является образованием с помощью суффикса *-ша* от основы этого глагола *марáкать* (сравните: *квакша* от *квакать*).

В псковских говорах есть слово *марáка* — «грязнуля, пачкун». **Марáкша*, таким образом, могло иметь значение, близкое к слову *марáка*. Возможно, однако, и другое. **Маракша* — измененное в результате редукции гласного слово **марáкуша*, зафиксированное в русских говорах только в уменьшительной форме *марáкушка* — мелкий муравей, мурашка — в оставшковских и тверских говорах (сравните с фамилией *Муравьев*).

Этика и этикет

И. Г. Добродомов,
доктор филологических наук



зучая произведения классиков, современный читатель порой встречается с непонятными для него словами. Одно из них *ифика* из книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в

Москву». Это слово не попало в наши современные словари, в «Путешествии...» (гл. «Подберезье») оно выступает в следующем словесном окружении: «Нас учат философии, проходим мы логику, метафизику, ифику, богословие, но, по словам Кутейкина в «Недоросле», дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять».

Ясно, что здесь речь идет о какой-то науке, но в современном русском языке это название науки не имеет никакой опоры и возможностей для толкования.

Однако в иной форме это слово фактически хорошо известно всем грамотным людям — в более привычном сейчас облике *этика* с двумя значениями: 1) учение о нравственности (морали), как одной из форм общественного сознания, совокупности норм и принципов (правил) поведения людей в жизни по отношению к другим людям и обществу в целом и 2) производное от него — совокупность правил поведения человека в общественной жизни.

Слово *ифика*, восходящее к греческому оригиналу, противостоит его латинской форме *этика*, которая отражает произношение того же слова в греческом языке в более древний период.

Наши словари XIX века хорошо показывают, что слово *этика* входило в русский язык в латинской форме постепенно, выступая в качестве все более и более утверждавшегося на русской почве конкурента вместо своего более старого двойника *ифика*. Только последнее слово дано в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля с определением: «наука о нравственности; ученье о нравственности высшей, духовной, по вере». А в «Полном толковом словаре всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык» его младшего современника Н. Дубровского (4-е изд. М., 1879) слово *этика* присутствует как отсылочное к *ифика*, а последнее получило обширное толкование: «Древние философы подразумевали всю практическую

философию, а в средние века под словом *этика* разумели нравственную философию. В настоящее время под словом *ифика* подразумевают учение о житейской мудрости или изложения правил нравственности».

К началу XX века соотношение между архаической формой *ифика* и все более укрепляющейся *этика* в словарях стало иным. Например, в 20-м издании «Карманного словаря иностранных слов» Н. Я. Гавкина (Киев, 1903) от слова *ифика* уже дана отсылка к *этика* «наука о нравственности; часть философии, исследующая проявления человеческой воли с точки зрения их нравственной ценности». Впоследствии форма *ифика* совсем исчезает из словарей.

Рядом с *этика* в русских словарях обычно стоит весьма похожее на него по форме и значению слово *этикет* «установленный порядок поведения, форм обхождения в каком-л. обществе».

На первый взгляд может создаться впечатление, что *этикет* является производным от *этика*, причем они сохраняют близость значения.

В качестве аналогии можно было бы вспомнить слово *мотоцикл* и его устаревший вариант *мотоциклет* с тем же значением, сохранившийся полностью в прилагательном *мотоциклетный*. Когда-то у слова *штиблеты* имелся его более краткий вариант *штибли*, а у слова *пистолет* — *пистоль*. От устаревшего теперь названия кожаного или суконного мешка, затягивающегося шнурами, *киса* было в начале XIX века образовано с помощью суффикса *-ет* слово *кисет* «затягивающийся шнурком мешочек (обычно для табака, трубки и спичек)». В. Н. Добровольский в своем «Смоленском областном словаре» (Смоленск, 1914) привел загадочное название большого платка *шалет*, которое явно соотносится со словом *шаль* «большой суконный обвязной платок» в тех же смоленских говорах.

Слова же *этика* и *этикет* в прошлом не имели ничего общего, и их вторичное сближение произошло совсем недавно.

Слово *этикет* является французским по происхождению (*étiquette*), проникло во многие языки Европы вместе с распространением парижского придворного церемониала. Во французском языке слово имеет два значения: 1) «ярлык, этикетка, надпись»; 2) «церемониал, этикет».

Важно заметить, что и во французском языке *étiquette* не имеет никакого отношения к *этике* (*éthique*), на что ясно указывает их разная орфография.

Французское слово *étiquette* в северных диалектах имеет облики *estiqete*, восходя к голландскому существительному *sticke*

«колышек, шпенек», которое было расширено французским уменьшительным суффиксом *-ette* и первоначально в таком виде обозначало колышек, к которому привязывалась записка, бумажка с названием товара. Затем так стала называться по смежности (метонимии) и сама бумажка с надписью (записка, ярлык).

Фонетические преобразования нидерландского (голландского) слова *sticke* на французской почве свелись к следующему. Перед сочетанием двух согласных в начале слова появился гласный *e-*, в результате чего возникла диалектная суффиксальная форма *estiquete*, которой в литературном языке закономерно соответствует *étiquette*. Такое фонетическое преобразование начала слова *sticke* > *étiquette* свидетельствует о значительном возрасте слова во французском языке.

В языке парижского двора у слова *étiquette* появилось с течением времени на базе значения «записка» более узкое значение «записка с обозначением последовательности протекания церемониальных действий» и далее — «церемониал».

Будучи «модным словом», французское наименование придворного церемониала *étiquette* распространилось в разных языках Европы, проникнув в русский язык. Несколько позже у слова *этикет* появилось в русском языке и первичное значение «ярлык, наклейка». Слово *этикет* и у нас стало многозначным. «Карманный словарь иностранных слов» Н. Я. Гавкина (Киев, 1903, изд. 20-е, с. 740) дает его в трех значениях: 1) правила обращения при дворе; 2) уточненное обращение; 3) ярлык, наклеиваемый на бутылки и обертки товаров, с обозначением названия фирмы, торговца или производителя. Однако в последнем значении у нас закрепилась первоначально уменьшительная форма *этикетка*.

Разграничение слов *этикет* «церемониал» и *этикетка* «ярлык, наклейка» в нашем языке произошло достаточно поздно: словарями оно отмечается только с начала XX века. В третьем издании «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля под редакцией И. А. Бодуэна де Куртене читаем: *этикет* «чин, порядок, светский обычай внешних обрядов и приличия; принятая, условная, ломливая вежливость; церемониал; внешняя обрядливость». И. А. Бодуэн де Куртене приводит и слово *этикетка*: «[*Этикетка* ж. нем. *Etikette*, фрн. *étiquette*, ярлык, бумажка с надписью. *Лекарства в аптеке выдаются всегда с этикеткою*].»

Современный читатель едва ли сразу уловит суть каламбура на основе омонимов в V главе «Великосветского хлыща» (1854) И. И. Панаева из «Опыта о хлыщах»: «...я действую начистоту, напрямки, *этикетки* только уважаю на бутылках, а церемоний

терпеть не могу...». Здесь слово *этикет* сейчас скорее воспринимается как искажение более привычной пыне формы *этикетка*.

Значения слов *этикет* и *этикетка* на русской почве настолько разошлись, что их общее происхождение уже не чувствуется.

Что такое ерик?

А. В. Барандеев,
кандидат филологических наук



В рассказе А. С. Серафимовича «Оглянулся», написанном в 1914 году, показана сцена суда, на котором свидетель-крестьянин так описывает поиски пропавшей отары овец. «Пробѣг сколько-то, гляжу, маячит. Я зараз тулуп с себе, па пузо, и пополз, а тут ерик, я — через...

Член суда, слегка приподнявшись, вежливо спрашивает:

— Господин свидетель, что же вам сказал господин Ерик?

Мужик вытаращил глаза, в публике — подавленный смех, а председатель, слегка обернувшись, говорит предупредительно:

— Ерик на местном наречии — небольшой овраг, овражек.

— А — а!

С тех пор член суда потерял свою фамилию, имя ... — в суде, в городе, среди знакомых, сослуживцев его знали и звали только „господин Ерик“. Так же стали называть в городе и дочь члена суда.

Как видим, незнание значения слова может привести к курьезам и даже к потере человеком своего собственного имени.

Самый ранний известный случай употребления слова *эрик* отмечен в воронежском документе 1615 года: «Рыбные ловли звено реки Дону... озерко Белое с ерком, да озерко Подполное с ерком» (Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. Т. 2. Воронеж. 1891). Словесное окружение в приведенном примере позволяет предположить, что слово *эрик* обозначает здесь ручей или проток из одного озера в другое в бассейне Дона. В памятнике XVII века «Книге Большому Чертежу»

(1627 г.) [описание бассейна Донца-Северского] слово *ерик* (*ерек*) присутствует в составе названий различных речек и ручьев: «Пала в Донец речка Ерек Каменной»; «...пал в Северской Донец колодезь Лихой Ерек, взялся врагом [потек из оврага.— А. Б.] ис под Муравской дороги».

В рассказе Д. А. Фурманова «На Черном Ереке» встречаем интересный пример употребления термина в составе названий речки и поселка (бассейн нижнего течения Кубани): «За поселком Черноерковским Черный Ерек изгибается вправо, а слева в него стекает какая-то другая речка, так что получается нечто вроде якоря..»

Словари, зафиксировавшие термин *ерик*, последовательно указывают на его локальное распространение. Например, «Ерик. На низовой Волге и по берегам так называют небольшие ручьи» (Словарь Академии Российской..., Ч. II, СПб., 1789). В Толковом словаре В. И. Даль определял слова *ерик*, *еричек* как юго-восточные и отмечал у них следующие значения: 1) «старица, речище, глушица, часть покинутого русла, куда по весне заливается вода и остается в долгих яминах»; 2) «глухой непроточный рукав реки, образовавшийся из старицы»; 3) «узкий глубокий пролив из реки в озеро, между озерами и ильменями». А. В. Миртов выделил у слова *ерик* значение «неглубокий длинный овраг, ручей, проток» (Миртов А. В. Донской словарь... Ростов-на-Дону. 1929).

Почему же термин *ерик* имеет лишь южнорусское распространение, на какой территории он первоначально закрепился, каково его происхождение?

Существенным для понимания истории этого слова представляется исследование А. Н. Качалкина, рассмотревшего употребление термина в донских документах XVII века. Автор определил, что *ерик* был известен на Дону в значениях: 1) «рукав, проток»; 2) «искусственный канал, соединяющий судоходные рукава Дона в его устье». А. Н. Качалкин склонен считать местом возникновения термина Придонье. Его аргументация достаточно убедительна: «На верхний Дон слово пришло с нижнего, где первоначально обозначало (в отличие от протоки) лишь „искусственный канал“. В низовьях Дона казакам нередко приходилось прорывать на мелководье канал, чтобы обойти запятым неприятелем [турками.— А. Б.] Азов. Впоследствии этот канал стал называться Казачьим ериком» (Качалкин А. Н. Автореферат канд. дис. Из наблюдений над словарным составом русского языка XVII в. М., 1968). Примечательно, что указанное значение термина *ерик* — «искусственный канал, прокопанная ложбинка» сохранилось в нижнедонских говорах и не прослеживается в верхнедонских.

В пользу донского пути проникновения термина *ерик* в русский язык может свидетельствовать его несомненная этимологическая связь с крымско-татарским и ногайским тюркизмом *jaɣuq* — «трещина, щель» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка), обусловленная языковыми контактами донских казаков с тюркоязычным населением русского Юга, в частности — с крымскими татарами.

Существует и другая этимология, выдвинутая Г. К. Конкашпаевым, согласно которой русск. *ерик* восходит к казахск. *žauq* — 1) «местность, изрезанная текучими водами»; 2) «проток или рукав реки». Термин *žauq* образован от глагола *žag* — «раскалываться, растрескаться» (Конкашпаев Г. К. Казахские народные географические термины. — Известия АН КазССР. Серия геогр., № 99, вып. 3. Алма-Ата. 1951). Формы *jaɣuq* и *žauq* отражают одно и то же слово, поскольку общетюркскому звуку *j* соответствует в казахском языке звук *ž*.

Более убедительным представляется рассмотрение иного пути проникновения тюркизма *jaɣuq* в русский язык. Ведь заимствование могло первоначально закрепиться на нижнедонских территориях как обозначение искусственного канала, вырытого казаками для судоходства. Затем началось распространение тюркизма *ерик* «с Дона на Воронеж, в земли астраханского, волжского, уральского казачества. Одновременно происходило движение этого слова к Центру, но далее Курской области оно не пошло» (Качалкин А. Н. Указ. соч.).

В русском языке наряду со словом *ерик* известны и другие близкие ему по значению тюркизмы: *арык* — «искусственный канал»; *джарык*, *жарык* — «трещина, проток», представляющие собой, как и *ерик*, позднейшие заимствования из тюркских языков, и более древнее *яруга* — «овраг, ручей в овраге».

В Словаре В. И. Даля *ерик* квалифицируется как слово юго-восточное. На этот регион распространения термина *ерик* указывает «Словарь русских народных говоров», в котором наиболее полно представлен весь комплекс семантических модификаций данного слова и производных от него образований типа *эричек*, *эричная рыба*, *эрка*.

В настоящее время слово *ерик* употребляется в русском языке как местный географический термин, распространенный преимущественно в бассейнах Кубани, Волги, Каспия, в низовьях Урала и на Дону.

В современной гидронимии известны многие названия, включающие термин *ерик*: река *Ерик* (лев. приток Боровой, басс. Донца-Северского), река *Ерик Иловатый* (лев. приток Волги выше

г. Камышина) и др. Очевидно, термин отражен и в названии поселка *Ерки* в Черкасской области УССР.

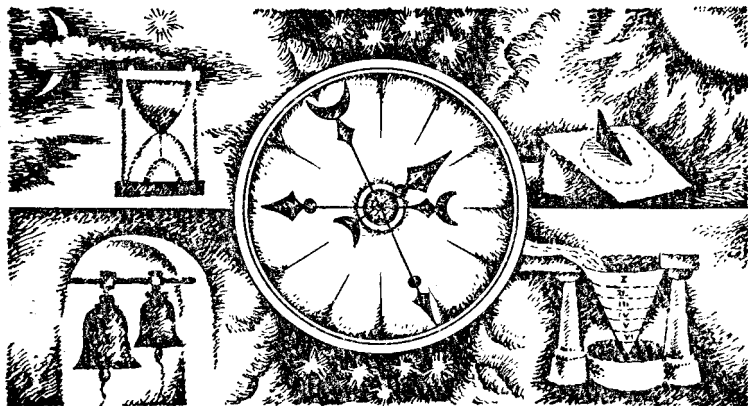
Рассмотренный материал убеждает в том, что даже курьезное употребление слова в явно не свойственном ему значении может стимулировать исследовательский поиск, который, опираясь на различные лингвистические источники, помогает восстановить подлинную историю слова.

«Еще идут старинные часы...»

Н. Н. Болдина

Поет Алла Пугачева, и мы попадем в мир музыки, любви и ...времени.

Часы — самый распространенный измерительный прибор, имеющий многовековую историю. Простейшими устройствами для измерения текущего времени были часы солнечные, водяные, песочные, огневые, звездные. Так, в Вавилоне уже в третьем тысячелетии до нашей эры хорошо знали солнечные и водяные часы, древние египтяне задолго до нашей эры пользовались звездными и водяными часами. Солнечные и водяные часы были известны с глубокой древности в Индии, Перу, Китае, Мексике. Работа водяных часов отражена в выражениях: *время истекло, много воды утекло, теряю воду*.



Но только механические часы ознаменовали собой технический скачок в создании приборов времени. Механические часы могли использоваться круглосуточно и в любую погоду. Они точнее измеряли время. Потребность в точном времени особенно отчетливо ощущалась в период развития буржуазного общества Западной Европы. Именно здесь и началось в конце XIII века производство механических часов.

Первые механические часы устанавливались на башнях и колокольнях, они производили сигналы боем в колокол. Показательно, что в английском языке слово *clock* «часы» первоначально имело значение «колокол».

В России первые часы с боем были установлены в московском Кремле в 1404 году. В русском языке стали часто употребляться слова *часомерье*, *часник*, *часы* в значении «прибор для измерения времени».

В других славянских языках для названия часов используются слова: *годинник* — в украинском; *гадзіннік* — в белорусском; *часовник* — в болгарском; *hodiny* — в словацком и чешском. Есть ли связь между этими словами в названных языках? Есть, но она видна не сразу. Слово *час*, от которого образовалось существительное *часы*, этимологами сближается с *чаяти* «ожидать». Глагол *погодить*, являясь однокоренным со словами *годинник*, *гадзіннік* и *hodiny*, обозначает «подождать». Таким образом, проявляется семантическая близость слов с корнями *час-* и *год-*, а следовательно, — их смысловая общность. Не случайно в древности русские люди употребляли название *годинник будильный* (часы с будильником).

Механические часы совершенствовались: источником энергии в них стала опускающаяся гирия, а регулятором хода — маятник. Позже функцию и двигателя и регулятора стала выполнять система баланс-спираль. Такие часы в зависимости от общего вида механизма и основных его узлов называют *колесными*, *гиревыми*, *маятниковыми*, *балансовыми*, *анкерными*.

В период развития механических часов (XIV—XIX века) в русском языке появились слова, называющие виды часов и их детали: *часобой*, *часозвон*, *часы боевые* — «часы с боем»; *куранты* — «музыка в часах или часы с музыкой»; *хронометр* — «самые точные астрономические или морские часы»; *маятник* — «отвес в стенных часах, регулирующий их ход»; *указное колесо*, *часовой указной круг* — «циферблат»; *минутник* — «минутная стрелка часов или колесо и другие части, относящиеся к пей» и др.

В Словаре русского языка XI—XVII вв. слово *будильник* отмечается с XVII века. Образованное от глагола *будить*, первонач-

чально оно называло «лицо, обязанностью которого было будить спящих»; для обозначения этого человека существовали и другие наименования: *будильщик*, *будилка*, *будила*. Но со временем для пробуждения люди стали использовать *часы-будильник* — «часы со специальным заводным механизмом, который звонит в определенное время».

Первый будильник представлял собою огневые часы: на подставке медленно тлел пропитанный специальным составом прут, во время его горения в медное блюдо с него падали тяжелые шарики, подвешенные в то место прута, куда огонь должен подойти в нужный час; шум падающих шариков и будил спящего. Известно, что греческий философ Платон в качестве будильника применял водяные часы. В своей конструкции ученый использовал сжатие воздуха в сосуде: эти часы состояли из сосуда с водой и двух камер; вода, *накапливаясь* в одной из камер, *переливалась* в другую, вытесняя оттуда воздух, который по трубке устремлялся к флейте и заставлял ее звучать.

Знаменитый художник и механик Леонардо да Винчи сконструировал будильник также на основе водяных часов. Специальный рычаг этого будильника в нужный момент переворачивал постель со спящим.

Разнообразием отличаются и современные будильники. В Швейцарии, например, выпущен будильник, который, позвонив в назначенное время, затихает, если его хозяин словами подаст команду замолчать. Но через четыре минуты будильник снова просигналит. Если и на этот раз человек не проснется, то звонок раздастся еще через сорок минут... Эти часы не реагируют на окружающие шумы, кроме сильного храпа, который прерывается звоном.

Во второй половине XX века появились часы нового времени — с электронным двигателем и новыми регуляторами (кристаллами кварца, камертоном). Использование качественно новых двигателей и регуляторов породило такие названия, как *электронные*, *кварцевые*, *кристаллические*, *камертонные часы*.

В 1951—1955 года созданы атомные и молекулярные часы, ход которых определяется частотой колебаний атомов и молекул. В связи с применением молекул аммиака в молекулярных часах, атомов цезия, водорода, рубидия, таллия в атомных появились и другие названия этих приборов: *аммиачные*, *цезиевые*, *водородные*, *рубидиевые*, *таллиевые часы*.

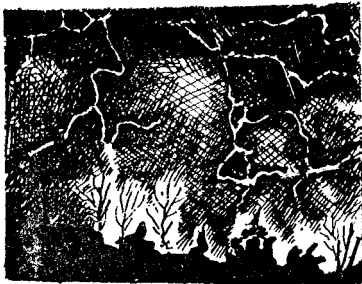
С XVI века в России профессия часовщика заняла почетное место. Для обозначения людей, конструировавших и изготавливавших часы, появились названия, отражавшие уважение к их тру-

ду: *часовой мастер, часовых дел мастер, курантный мастер, часокодец*. Мастера часового дела, а также физики, астрономы, механики, математики постоянно занимались усовершенствованием приборов, измеряющих время. Их имена сохранились в наименованиях часов и деталей часов. В частности, их фамилии целиком используются в названии предмета и становятся именами нарицательными (например, *брегет* — «точные карманные часы, созданные французским часовщиком Бреге») или являются частью составных наименований (часы Кулибина, будильник Платона, хронометр Данишевского, маятник Гаррисона и др.).

Пенза

Воробьиная ночь

А. Л. Топорков,
кандидат исторических наук



«Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни...», — так начинается 5-я глава чеховской повести «Скучная история».

Откуда появилось в русском языке выражение *воробьиная ночь*?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к словосочетанию *рябинная ночь*, встречающемуся в русских летописях. В Новгородской четвертой летописи рассказывается о природных явлениях в 1024 году: «И бывши нощи рябинной, бысть тма и гром шыбаше, и молниа, и дождь...». Сочетание *рябинная ночь* сохранилось до сих пор в некоторых говорах, например, на Западной Брянщине *рѣбѣнная нощ* (при *рѣбѣть* «пестреть»), в Белорусском Полесье *рабѣнная нощ* (при *рабовы, рабы* «рябой, пестрый»).

Исходным значением словосочетания *рябинная ночь* было, можно предполагать, «рябая, пестрая (как куропатка или рябчик) ночь», т. е. «ночь со вспышками молний (с грозой или без нее)». Существует мнение о том, что выражение *рябинная ночь* связано с древнерусским словом *ряб/рябрь*, обозначавшим куропатку или ряб-

чика (см.: Німчук В. В. До історії й етимології давньоруського *рябиная ночь*// Л. А. Булаховский и современное языкознание. Киев. 1987).

На основе выражения *рябинная ночь* с течением времени, по-видимому, образовались и *рябиновая ночь* и, казалось бы, столь отличное и по форме, и по значению, *воробьиная ночь*.

Вначале, очевидно, появилась форма *рябиновая ночь*, сохранившаяся до сих пор в белорусском языке, а также в западно- и севернорусских говорах. Еще позднее, по-видимому, возникли названия типа *воробьиная ночь*. В качестве промежуточного звена между ними могли выступить формы типа укр. *горобійнна* «воробьиная» (от *горобець* «воробей» и «рябиновая» (от *горобіна* «рябина»). Так, вероятно, и появились современные выражения: укр. *горобина ніч* и рус. *воробьиная ночь*.

В диалектах названия воробьиных ночей имеют множество вариантов, вот лишь некоторые из них: рус. *рябовая, рябья, рэбийная*; укр. *верейбійная, горобяча, грабіная, орабіна, оребійновз, оробьёва, рабінова, рабінова, рабова*; белорус. *арабінова, верабіная, воробіная, орабінова, рабікова*. Вне зависимости от конкретной формы они имели основное значение «ночь с сильной грозой или зарницами». Такая ночь часто сопровождалась сильным ветром или бурей, она характеризовалась как темная, страшная, душная, бесконечная.

Хотя связь *воробьиных ночей* с воробьями, а *рябиновых* — с рябиной имеет, по всей вероятности, вторичный, народно-этимологический характер, она прочно укоренилась и в языке, и в народных представлениях. Выражения *воробьиная ночь* в русском языке и *горобина ніч* в украинском связываются с поведением воробьев: «В продолжение лета бывает несколько бурных ночей, с градом, ливнем и грозой, и эти-то ночи называются воробьиными. Ливень бывает силен до такой степени, что выгоняет воробьев из их убежищ, и бедняжки летают целую ночь, жалобно чиликая» (Словарь малорусского наречия, составленный А. Афанасьевым-Чужбинским. СПб., 1855).

В середине XIX века в Ровенском уезде ночь накануне Козьмы и Демьяна (1 ноября по ст. ст.) называли *горобяча нуць*: «В этот день вы не встретите ни одного воробья, которые до сих пор летали огромнейшими стадами. Жители Полесья говорят, что в ночь перед этим праздником черти отмеривают для себя десятину. На другой день, действительно, вы едва встретите воробья, как будто испуганного, с наеженными перьями и постоянно отряхивающего крылышками» (Трусевич И. Праздничные обряды.— Киевлянин. 1865. № 109).

Получило вторичное осмысление и название *рябиновая ночь*. По свидетельству А. Н. Афанасьева, в Калужской губернии существовало «поверье, что в каждом году непременно бывают три „рябиновые“ ночи: одна — в конце весны, другая — в середине лета, а третья — в начале осени, или первая — когда цветет рябина, вторая — когда начинают зреть на рябине ягоды, и третья — когда ягоды эти совершенно поспеют» (Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу). Это название связывалось также с *рябчиками*: «рябцы, распуганные грозами рябиновых почей, разбиваются на мелкие стайки и скликаются», поэтому ставятся легкою добычей охотников» (Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь).

Вернемся еще раз к летописи. В 1024 году между дружинами Ярослава Мудрого и его брата Мстислава произошла кровопролитная битва: «И бывши нощи рябинной, бысть тма, и гром шьбаше, и молния, и дождь... И бысть сеча зла и страшна: яко посветишася молния, тако блещашеся оружия, и елико же и молния освещаша, толико мечи видяху, и тако друг друга убиваше, и бе гроза велика и сеча силна» (Новгородская четвертая летопись).

Сопоставление летописи с белорусскими этнографическими источниками XIX века свидетельствует о том, что с *рябиновой ночью* действительно могло связываться представление о своеобразной небесной битве. Например, на Витебщине бытовало поверье о том, что в конце лета обязательно должна пройти *рябиновая ночь* — буря с громом и молнией. Так как за летнее время много расплодилось нечистой силы, то в эту ночь все стихии объединяются для ее преследования и истребления. Каждый убитый в эту ночь «пируном» (т. е. ударом молнии) или пострадавший от бури считался колдуном (Никифоровский Н. Я. Простонародные приметы и поверья. Витебск. 1897). *Рябиновую ночь* отличали страшный гром и непрестанная молния, в это время печистая сила слеталась на свой годовой праздник (Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. СПб., 1902. Т. 3).

Обычные грозы осмыслились белорусами, в соответствии с христианскими представлениями, как кара, посланная людям за грехи. Поверье о том, что *рябиновые ночи* — время разгула нечистой силы и, одновременно, ее уничтожения, имело отчетливо языческий характер. Это, по-видимому, и есть исконная, наиболее древняя символика рябиновой (рябиновой) ночи.

В XIX—XX веках поэтический образ воробьиной ночи не раз привлекал внимание писателей. Воробьиною ночь изобразили в своих повестях И. С. Тургенев («Первая любовь») и К. Г. Паустовский («Героический юго-восток»). Т. Г. Габбе положила легенду о *рябиновой ночи* в основу своей пьесы «Авдотья Рязаночка».

Литературные описания воробьиных ночей иногда поразительно напоминают поверья, сохранившиеся в наиболее архаической белорусской традиции. «...и не дай божэ, штоб ена́ (*рабийнавая ноч.*— А. Т.) ў лёси засьцігла хрышчо́нага чалавэка. Перуны́ бьюць адзін за адным, страшэны ливу́н лёе и схава́цца некуды, а бліскавіца блись да блись, здаёцца, што ўвесь сьвет гарыць»,— рассказывали белорусы-попелуки (Cz. Pietkiewicz. *Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego*. Warszawa, 1938). А вот отрывок из рассказа И. А. Бунина «Натали»: «...Комната озарялась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, *загорается земля и небо!*»

Так продолжается и в нашем веке жизнь древнерусского образа-слова.

Ленинград

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

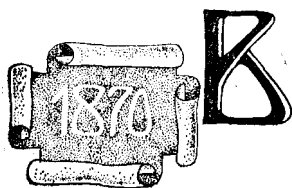
«Каково происхождение слова *колчедан*? Часто встречаю его в сочинениях М. В. Ломоносова и в наше время».

В. А. Вахрушев, Гомель

Слово *колчедан* заимствовано из французского языка в XVII веке. Французское *calcedoine* восходит к латинскому *colcidonius*, которое образовано от греческого собственного имени *Chalkedon*, названия местности в Малой Азии, где преимущественно находили эти минеральные соединения.

Турнюра, турнюр

Р. М. Кирсанова



се, что связано с костюмом минувшего столетия, давно ушло из нашей повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова, обозначавшие старинные костюмы и ткани. Обращаясь к творчеству русских писателей XIX века, мы, в сущности, не замечаем многое из того, что легко воспринимали пер-

вые читатели какого-либо литературного произведения.

В середине XIX века пользовалась популярностью писательница Юлия Валериановна Жадовская (1824—1883). С. Т. Аксаков посвятил один из своих критических обзоров ее роману «В стороне от большого света». Теперь творчество Ю. В. Жадовской основательно забыто, и только в 1986 году была переиздана ее повесть «Переписка».

В комментариях к повести Ю. В. Жадовской фраза «Вон... кто же это, в белом платье, стоит сюда спиной? Здешних я знаю со всех сторон; это незнакомая турнюра, и очень недурная...» толкуется следующим образом: «Турнюра (*франц.*) — осанка. Здесь: принадлежность женского платья XIX века — подушечка, которая подкладывалась под юбку для того, чтобы придать фигуре осанку» (сб. «Дача на Петергофской дороге». М., 1986).

Действительно, во второй половине XIX века был почти двадцатилетний период, когда силуэт женской одежды формировался с помощью ватной подушечки или жестко накрахмаленной прокладки, получившей название *турнюр*. Впервые турнюры начали носить в 1870 году, а отказались от них в конце 80-х годов прошлого века.

Однако, так как повесть Ю. В. Жадовской была написана в 1848 году, речь не может идти о турнюре, как о специальном приспособлении для формирования характерного силуэта. Писательница употребила слово *турнюра* в прямом значении, заимствованном из французского языка.

Это слово широко использовалось в первой половине XIX века. Еще в 1833—1834 годах его употребил, правда в ином написании, Н. В. Гоголь в повести «Невский проспект»: «На этом Пиров очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торжору, ловкость...»

После 1870 года термин *tournure* был перенесен на модное нововведение в женский костюм и в значении «осанка» уже никогда не употреблялся.

Появление турнюра в женском костюме связано с именем конкретного художника-модельера — Чарльза Ф. Ворта (1826—1895). Он приехал в Париж из Лондона в 1850 году и, с помощью баронессы Меттерних, смог стать придворным портным императрицы Евгении, которая ориентировалась в своих вкусах на стиль, бытовавший при дворе французской королевы Марии-Антуанетты в конце XVIII века. Ч. Ворт, для того чтобы угодить влиятельной заказчице, при создании своих моделей обращался к костюмам последних десятилетий XVIII века. В 1856 г. он получил патент на изобретение металлического каркаса для женских юбок — *кринолина* — просуществовавшего до 1867 года (название металлической конструкции было заимствовано у существовавшей в XVIII веке жесткой ткани из конского волоса и шерсти — *crinoline*, — которую носили женщины для придания пышности юбкам). После того, как кринолины внезапно вышли из моды, Ч. Ворт вновь обратился к костюму второй половины XVIII столетия — так в моду вошел турнюр, формировавший силуэт, напоминавший причудливо изогнутые фигурки.

Если время появления турнюра (1850 г.) не вызывает сомнений среди специалистов по истории костюма, то время его исчезновения обозначается весьма расплывчато. В России, скорее всего, это был 1889 год. Именно тогда появилась в печати заметка следующего содержания: «В настоящее время наши модницы разделились на два лагеря и ведут между собой жестокую борьбу относительно турнюров.



Одни совсем перестали носить турнюр, а другие все еще не могут решиться бросить его.

Самые элегантнейшие женщины, следующие в точности за модой, и те, которые любят все оригинальное, а также многие женщины небольшого роста носят совершенно прямые юбки безо всяких турнюров» (Вестник моды. СПб. 1889. № 23).

Функции костюма в художественном произведении, к сожалению, не учитываются должным образом при анализе литературных текстов. А факты из истории костюма столь разнообразны, что могли бы оказать существенную помощь как широкому кругу читателей, так и специалистам-филблогам и т. д.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Я живу в селе Зимино. Почему-то в местной газете принято писать *в Зимине, в селе Зеленой Роще*. Мне это кажется неверным. И еще: в автобусах, самолетах есть надписи *запасный выход*. Почему *запасный*, а не *запасной*?»

Н. М. Тихонова, *Зимино Алтайского края*

В соответствии с действующими грамматическими правилами, географические названия на *-ово, -ево, -ино, -ыно* склоняются: *в Останкине, в Переделкине, в Зимине*. Однако такие географические наименования не склоняются, если являются приложением к обобщающим словам *деревня, село, станция, поселок*: *в селе Зимино, в поселке Семино, в селе Золотая Роща* и т. п.

Прилагательные *запасной* и *запасный* совпадают в значении, но во многих случаях различаются сочетаемостью. Сравните: *запасной* и *запасный полк*, но *запасной игрок*. Словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка», выпущенный ленинградским отделением издательства «Наука» в 1974 году, отмечает устаревающий характер прилагательного *запасный*. Оно сохраняется в сочетании *запасный выход*.

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА у народов мира

В 1814 году известный русский писатель, филолог и государственный деятель адмирал Александр Семенович Шишков сопровождал российскую императрицу в ее поездке по Германии, освобожденной русскими войсками от Наполеона. Один из эпизодов этой поездки получил в его воспоминаниях такое описание: «Странно было для русского уха слышать, что громогласно и с восторгом произносилось одно только отечественное имя [отчество.— И. Д.] ее: „Алексеевна!“ Нельзя было не рассмеяться, когда народ кричал: „Ура, Алексеевна! Виват, Алексеевна!“ Они думали подделаться этим под русский язык, потому что у них отечественное имя не в употреблении, по того не могли знать, что без приложения к нему собственного имени оно дико и только о простых и пожилых женщинах говорится» (Шишков А. С. Записки, мнения и переписка. Берлин, 1870. Т. 1). Совсем по-иному воспринимает современный русский читатель Ярославну в «Слове о полку Игореве» сравнительно с восприятием в древности.

Действительно, многие народы не знают отчеств — именованый человека по отцу. Но у арабов употребительны не только отчества (по-арабски *насаб* буквально «родство») с элементами *бен/ибн* «сын» или *ибна/бинта* «дочь», но и также именованый по сыну или дочери (по-арабски *кунья* буквально «прозвище, кличка») с элементами *абу* «отец» или *умм* «мать». Есть у арабов и другие формы, которые выстраиваются в довольно сложную систему личных именованый человека.

Зато у исландцев фамилий вовсе нет: то, что мы воспринимаем у них как фамилии,— фактически отчество. В германских языках, родственных исландскому, такие же отчества превратились в фамилии (эти народы отчеств сейчас не знают и не употребляют).

В некоторых обстоятельствах употребляются специальные формы личных именованый человека, причем они оказываются разными у разных народов мира. Известный писатель и литературовед Д. М. Урнов, рассказывая о дружбе английского писате-

ля Чарлза П. Сноу с крупным советским ученым-литературоведом И. И. Анисимовым (1899—1966), приводит такой эпизод:

«Однажды Сноу хотел что-то Ивану Ивановичу сказать и вдруг обратился к нему: — Ваня... Эволюция была такова. Сначала церемонное „профессор Анисимов“, потом более личное „Иван Иванович“, потом „Иван“ и, наконец, „Ваня!“.

Иван Иванович в ответ воскликнул: — Слушаю вас, Чарли! — Сноу преобразился. Глыба беспокойно задвигалась. И даже слегка покраснев, лорд Чарлз сказал: — Простите, но меня так назвать нельзя.

Анисимов тоже насторожился: — Почему же? — А потому, — разъяснил сэр Чарлз, уже улыбаясь, — что в Англии так можно назвать лишь маленьких собачек. Или Джон Уэйн [один из тех, кого в то время называли „рассерженными молодыми людьми“, автор романа „Спешите вниз“. — Примеч. Д. Урнова], если выпьет лишнего, обязательно называет меня Чарли. Нет, Чарли это не Ваня, совсем не Ваня!» (Большой Иван. Книга об И. И. Анисимове. М., 1982 / Библиотека «Огонек». № 22).

Сложившаяся система личных именовании у каждого народа объясняется своеобразием истории его социальных слоев. Вот как, например, в романе Н. С. Лескова «Некуда» дьякон объясняет возможность появления у секретаря православной консистории и в русском духовенстве вообще странной фамилии *Дюмафис* (Дюма-сын, франц. *Dumas-fils*): «...могу рассказать, как у нас происходят фамилии, так вы и поймете, что это может быть. У нас это на шесть категорий подразделяется. Первое, теперь фамилии по праздникам: Рождественский, Благовещенский, Богоявленский; второе, по высоким свойствам духа: Любомудров, Остромысленский; третье, по древним мужам: Демосфенов, Мильтиадский, Платонов; четвертое, по латинским качествам: Сапиентов [лат. *sapiens, -entis* «мудрый, понимающий». — *И. Д.*], Аморов [лат. *amor* «любовь». — *И. Д.*]; пятое, по помещикам: помещик села, положим, Говоров, дьячок сына назовет Говоровский; помещик будет Красин, ну дьячков сын Красинский. Вот наша помещица была Александрова, я, в честь ее, Александровский. А то, шестое, уж по владычней милости: Мольеров, Рассинов, Милтонов, Боссюэтов. Так и Дюмафис. Ничего тут нет удивительного. Просто по владычней милости фамилия, в честь французскому писателю, да и все тут».

Чтобы облегчить читателю понимание своеобразия и тонкостей личных именовании у разных народов, Институт этнографии Академии наук СССР выпустил в 1986 году специальный справочник «Системы личных имен у народов мира», где можно найти

краткие сведения о личных именах и ссылки на специальные работы, более подробно освещающие эту проблему. Предлагаем с небольшими сокращениями статью известного специалиста по ономастике В. А. Никонова (1904—1988) о русских именах, отчествах и фамилиях, помещенную в этом справочнике. Владимир Андреевич скончался, когда шла подготовка этого материала для публикации. Статья появляется в «Русской речи» уже без его непосредственного участия.

*И. Г. Добродомов,
доктор филологических наук*

Русские имена

В. А. Никонов

Древнерусская антропонимия состояла первоначально только из личного имени в узком смысле; большинство имен первоначально «повторяло» нарицательные слова (*Волк, Ждан, Добрыня*). Среди древнерусских имен было немало заимствований из финно-угорских, тюркских и других языков. Первые письменные памятники свидетельствуют о социальном расхождении антропонимии: выделялись имена правящей верхушки, среди которых имена скандинавского происхождения (*Олег, Ольга, Игорь* и др.), но особенно характерны были составленные из двух основ; летопись прямо называет их княжескими; в качестве их второго компонента наиболее часты *-слав, -мир* (*Святослав, Мстислав, Владимир* и др.; в республиканском Новгороде посадники *Твердислав, Остромир*). Происхождение этой модели остается спорным. Развились имена суффиксальные, например, с *-ило* (*Томило, Твердило, Путило*), *-ята* (*Гостята, Пуята*) и др. Женских имен дошло очень мало; женщину чаще называли по имени отца (самая известная героиня древнерусского эпоса — *Ярославна*) или по имени мужа (новгородские *Завижая, Полюжая* — жены *Завида, Полюда*), из дошедших женских имен — *Красава*.

Христианство, заимствованное русскими из Византии (988 г.), принесло имена, канонизированные православной церковью, — это имена «святых» первых веков христианства, происходящие из языков народов Римской империи; особенно много среди таких имен древнегреческих (*Андрей, Александр, Василий, Елена, Ирина*), латинских (*Сергей, Константин, Татьяна, Матрена*), а также имен из языков Передней Азии — арамейского, древнееврейского, сирийского и др. (*Иван, Фома, Мария, Анна*). Так как такие имена пришли на Русь через среднегреческий язык Византии,

они несли многие его признаки (например, *Варвара, Лаврентий*, а не *Барбара, Лаврентий*). На протяжении столетий повседневные формы многих имен изменились и стали отличаться от канонических, которые употребляла только церковь, например (в каждой паре первая форма повседневная, вторая — каноническая): *Авдотья — Евдокия, Аксинья — Ксения, Арина — Ирина, Акулина — Акилина, Егор — Георгий, Осип — Носиф, Гаврило — Гавриил* и т. п., даже в литературном языке «победили» неканонические формы: *Иван, Матрена* вместо *Иоанн, Матрона*.

В течение веков церковь не могла истребить русские имена: упорная борьба длилась с X по XVII в. Хотя для всех русских стало обязательным крещение, при котором давали имя (только из списка православных «святых»), но в жизни долго употребляли имена нецерковные. Так, очень часты такие имена, как *Ждан, Неждан, Истома, Томило*, женское *Милага*. Только на рубеже XVII—XVIII вв., при Петре I, правительству удалось запретить нецерковные имена (позже проскальзывали единичные).

Отчества у русских известны с первых письменных памятников в краткой форме притяжательного прилагательного, сначала с суффиксом *-(j)ь* (*сын володимерь* «владимиров сын»; после губных согласных возникало дополнительно *ль* — *сын ярославль* «ярославов сын»), позже XII в. в этой функции выступают только суффиксы *-ов* (*-ев*) или *-ин* (при основах на *-а*): *сын иванов, сын ильин*. В княжеской среде победила форма отчества с *-ич*, затем осложненная в *-ович* (*-евич*).

Дробление русских княжеств на множество мелких уделов породило обозначение князей по названиям принадлежащих им территорий (*Шуйские, Курбские*); эти обозначения стали родовыми именами.

Русская антропонимия XVI—XVII вв. резко разграничена социально. Бояр именовали трехчленно: «индивидуальное имя (церковное или нецерковное) + полное отчество (с *-ович, -евич*) + родовое имя»; каждый из трех компонентов мог сопровождаться параллельным, например разветвление боярских родов отражалось на родовых именах: *Вельяминовы-Зерновы, Вельяминовы-Сабуровы* и др.

Создание крупного централизованного государства, появление большого слоя служилых с их земельными владениями обусловили необходимость фамилии — именованья, обозначающего всех членов семьи и переходящего на следующие поколения.

Реформы Петра I, упорядочивая весь государственный аппарат, уточнили и закрепили также и сословные антропонимические нормы: всеобщую официальную обязательность церковного

имени, трехчленность именовании для привилегированных, в том числе отчества на *-ович*, *-евич* только для высших чинов (в конце XVIII в. такой тип отчества был распространен на все дворянство). К середине XIX в. фамилии охватили полностью духовенство, купечество, разночинцев. У крестьян государственных (особенно на Севере и в Сибири) фамилии известны с XVIII в. (а отдельные и с XVII в.); всей же массе крепостных крестьян, составлявших большинство населения страны, фамилий не полагалось; хотя «уличные» фамилии у крепостных возникали, но, не признанные официально и не записанные, они в большинстве своем не были устойчивы. Только после падения крепостного права (1861 г.) фамилии были даны почти всем, но даже и позже многие документы не признавали крестьянских фамилий. Закона, устанавливающего для всех обязательность фамилии, в царской России не было; действовали лишь административные распоряжения. Вплоть до самого краха царизма так и не удалось добиться полного охвата фамилиями всего русского населения. Оставались без фамилии беглые, которых записывали в документы «не помнящий родства», многочисленные «незаконнорожденные».

Абсолютное большинство фамилий у русских составляют патронимические, указывающие на предков первого носителя фамилии: первый *Иванов* — потомок *Ивана*, *Зайцев* — потомок *Зайца*, *Кузнецов* — потомок кузнеца, *Казанцев* — потомок казанца и т. д.; фамилии из именовании матери (*Марьян* и др.) несравнимо реже, чем из именовании отца; женщина была бесправна. [Ошибочно, однако, связывать их (имена) с внебрачными детьми — чаще они обозначали детей вдовы, вынесшей на своих плечах хозяйство и воспитание детей, также солдатки (при 25-летнем сроке военной службы).] Другая группа фамилий — принадлежностные (*Князев*). Остальные группы охватывали очень ограниченный состав посителей. По форме абсолютно преобладают фамилии из кратких притяжательных прилагательных; в отдельных слоях населения нередки фамилии на *-ский*, на некоторых территориях распространены фамилии на *-их(-ых)*; фамилии всех других форм, вместе взятые, не охватывают 1% русских фамилий.

Наряду с документальной системой имен в повседневном употреблении не только существовали, но и преобладали параллельные виды именовании. Крестьяне и рабочие употребляли изолированное отчество на *-ич*, *-евна* по отношению к уважаемым людям из своей среды, в привилегированных кругах это считалось зазорным и использовались такие именовании при обращении преимущественно к крепостным «мамкам» и «дядькам»

(например, пушкинские *Савельич* в «Капитанской дочке», *Филипповна* в «Евгении Онегине»). В семье пользовались только уменьшительными формами от церковных имен; у образованной части дворян — непременно на французский манер, например *Базиль*, *Пьер*, *Натали* (соответственно от *Василий*, *Петр*, *Наталья*), а в семьях англоманов конца XVIII в. и начала XIX в. — *Бэтси* (*Елизавета*), *Мэри* (*Мария*). Господствующей формой обращения к низшим по социальному положению оставались в XVIII—XIX вв. уничижительные формы с *-ка*.

Советская власть уничтожила обязательность церковных имен. Население получило право избирать любые имена по своему усмотрению. В 20-х годах в русскую антропонимию хлынул поток новых имен. Это были в основном 1) имена, известные у других народов (*Эдуард*, *Альберт*, *Алла*, *Жанна* и пр.); 2) апеллятивы — ипоязычные заимствования (*Авангард*, *Гений*, *Идея*, *Поэма*), даже предметные (*Трактор*); 3) аббревиатуры (*Владлен* — Владимир Ленин, *Ревмира* — революция мировая, даже *Пяточет* — пятилетка в четыре года); 4) имена, принятые за новые, а на самом деле давние, но почти забытые (*Олег*, *Игорь*); 5) имена производные, близкие по форме к привычным именам (*Октябрина*, *Светлана*); 6) уменьшительные имена, принятые за полные (*Дима*, *Оля*, *Лена*). При огромном количестве новых имен частотность их оставалась незначительной даже в городах, а в деревне не превышала 1%. Поиск шел вслепую и привел ко многим неудачам. В середине 30-х годов количество новых имен уменьшилось (хотя отдельные имена продолжают появляться и теперь); привились немногие — *Владлен*, *Октябрина*, *Светлана*, *Снежана* и некоторые другие. Установился очень компактный именной из 40—50 мужских и 50—55 женских имен. Большинство имен в нем — прежние, но именной совсем не похож ни на дореволюционный, ни на именной 30-х годов — самые частые имена прошлого либо вышли из употребления, либо стали редкими...

Полное трехчленное именование употребляют только в важнейших официальных актах, в торжественных случаях, в списках избирателей, в юридических документах. Во всей текущей официальной документации обычна только фамилия с инициалами имени и отчества.

В повседневном устном употреблении преобладают несколько способов именованья: 1) фамилия с предшествующим обращением *товарищ*; 2) имя и отчество; это обращение менее официально и наиболее часто как среди близких знакомых, так и в служебных отношениях. В дружеских или родственных отноше-

ниях господствуют производные уменьшительные формы индивидуальных имен: *Володя* вместо *Владимир*, *Лена* вместо *Елена*, недопустимые при иных, более официальных отношениях. Эти уменьшительные формы нередко обладают эмоционально-ласкательной окраской (*Володенька*, *Леночка*) или пренебрежительным оттенком (*Володька*, *Ленка*); набор суффиксов таких форм в русской антропонимии чрезвычайно разнообразен, например от мужского имени *Иван* насчитывается больше сотни производных форм: *Ваня*, *Ванечка*, *Ванюся*, *Ванька*, *Ванятка*, *Ванюха*, *Ванюк*, *Ванек*, *Иваш*, *Ивашка*, *Ивантей*, *Иванице*, *Иванец* и т. д. Кроме того, в семье и других тесных группах, особенно в среде учащейся молодежи, нередки всевозможные прозвища — иптимные, дружеские, ироничные, презрительные или вполне пейтральные; они образованы различно: из нарицательных, путем «переделки» имени или фамилии, на основе случайного набора звуков. У некоторых писателей или артистов есть псевдонимы.



ПРИЧАСТИЯ и ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

С -н- — -нн-

И. И. Степанченко,
кандидат филологических наук

Сколько секретов у русской орфографии? Если считать, что их столько же, сколько правил, то получается внушительное число — 421. Предположим, все правила нам удалось запомнить, но как на вступительном экзамене, когда времени на размышление почти нет, найти в этом орфографическом море затерянный в нем спасительный островок? Не надежнее ли писать, опираясь на интуицию?

Но интуиция и интуиции разнь. Когда интуитивное письмо — следствие выработанного навыка, это совсем неплохо. А вот если интуиция основана лишь на случайно замеченном внешнем сходстве в написании разных слов, ошибок не избежать. В сочи-

нениях абитуриентов часто встречаем неправильные написания типа *крашенный пол* (по аналогии с *соломенный*) или *задержанный* (по аналогии с *кожаный*) и т. п. Как же воспитать в себе орфографическую интуицию или, иными словами, выработать орфографический навык?

Представим, что мы купили новую мебель и не знаем, как из отдельных деталей собрать книжные шкафы. Конечно, в этом случае нужно обратиться к инструкции. В строгой последовательности мы будем выполнять действия, которые описаны в ней. После того, как будет собрано несколько таких книжных шкафов, необходимость в инструкции отпадет. Действия мы станем выполнять автоматически, то есть у нас выработается соответствующий навык.

А не поможет ли эта нестрогая аналогия раскрыть орфографические секреты? Попробуем превратить правила правописания также в своеобразную инструкцию, которая была бы применима к орфографическому материалу, и, руководствуясь ею, чтобы не утонуть в море правил, рассмотрим случаи правописания *н — ни* в суффиксах слов.

Правила правописания *н — ни* в суффиксах изучаются и в 5-м, и в 6-м классах средней школы. А нельзя ли обобщить эти правила? Что прежде всего нужно усвоить, чтобы грамотно писать *н — ни*?

Первое, что необходимо запомнить: в суффиксах кратких причастий пишется всегда одно *н*: *написана, разучены*.

В суффиксах существительных, наречий, кратких прилагательных пишется столько *н*, сколько их в полных формах прилагательных и причастий, от которых они образованы: *путаный — путано* (пареч.), *путаник*; *мужественный — мужественна* (кр. прилагат.) и т. д. Значит, самое главное — научиться правильно писать *н — ни* в суффиксах полных форм имен прилагательных и причастий.

Обратимся к примерам. Перед нами две группы слов. Попробуем определить, по какому признаку слова первой группы отличаются от второй.

1) *Истинный, батальонный, бараний, серебряный, петушиный, искусственный, станционный*.

2) *Брошенный, осмеянный, ускоренный, вязаный, вареный, путаный; паханное осенью поле, балованный, кованый*.

Догадались? Конечно же, слова первой группы образованы от имен существительных, а второй — от глаголов. Их можно назвать по-иному: *отыменными* и *отглагольными* образованиями. Для чего мы их разделили?

Особенности правописания *н* — *ни* в отыменных прилагательных отличны от тех, которые следует знать при анализе отглагольных прилагательных и причастий. Поэтому в данном случае удобнее делить слова не на прилагательные и причастия, а на отыменные и отглагольные образования (см. первый пункт схемы).

Сначала проанализируем отыменные образования. Посмотрим, как образованы слова, вошедшие в первую группу:

истинный	— истин(а)	+ н(ый)
батальонный	— батальон	+ н(ый)
бараний	— баран ¹	+ ий (нулевое)
серебряный	— серебр(о)	+ ян(ый)
петушиный	— петух	+ ин(ый)
песчаный	— песок	+ ан(ый)
искусственный	— искусств(о)	+ ени(ый)
станционный	— станци(я)	+ они(ый)

В первых двух словах основа заканчивается на *-н-* и к ней присоединяется суффикс *-н-*. Поэтому данные отыменные образования имеют два *-ни-*. Это правило хорошо известно. А вот как быть со следующим словом — *бараний*? В нем основа также заканчивается на *-н-*, но суффикса *-н-* нет, оно образовано при помощи суффикса *-ий-*. Но поскольку слова типа *бараний* внешне очень похожи на рассмотренные, выделим их в нашей инструкции в разделе *Примечания*. В эту же группу включим слова *юный*, *свиной*, *румяный*, *пьяный*, они также имеют основу на *-н-*, но суффикса *н* не имеют.

А дальше совсем просто. Достаточно посмотреть на суффиксы *-ян-*, *-ин-*, *-ан-*, *-онн-*, *-енн-* в рассматриваемых словах и станет ясно, сколько *н* нужно писать. Правда, есть еще три известные исключения: *оловянный*, *деревянный*, *стеклянный*.

Сказанное позволяет закончить составление левой части инструкции, касающейся отыменных образований (см. схему).

Обратимся к примерам из второй группы, то есть отглагольным образованиям. От каких глаголов образованы первые шесть слов? Слова *брошенный*, *осмеянный* и *ускоренный* образованы соответственно от глаголов *бросить*, *осмеять* и *ускорить*, и в них пишется *ни*, а *вязаный*, *вареный*, *пуганый* — от *вязать*, *варить*, *пугать*, и в них пишется *н*. Почему же в одних отглагольных образованиях — *н*, а в других — *ни*? Посмотрим внимательно на глаголы, от которых образованы анализируемые слова. Чем отличаются первые три глагола от последующих трех? Они отвечают на разные вопросы: *бросить*, *лишить* и *ускорить* отвечают на

СХЕМА

1. Выясни, от какого слова образовано прилагательное или причастие

от имени
(сущест. или прилаг.)

2. Посмотри, есть ли в слове суффикс *-н-*, который присоединяется к основе на *-н-*

да нет
↓ ↓
-нн- 3. Определи суффикс:

Примечание: *-ан-* *-онн*
в прилагательных с (*-ян-*) *-енн-*
суффиксом *-ин-* ↓
-ий-, а также *-н-* *-нн-*
же в словах *Исключения:*
юный, свиной, румяный, пьяный суффикса *-н-* нет
оловянный, деревянный, стеклянный

от глагола

2. Определи, какого вида глагол

↓ ↓
совершенного несовершенного
(или двувидовой)
↓ ↓
-нн- 3. Посмотри, есть ли зависимое слово

↓ ↓
да нет
↓ ↓
-нн- Посмотри, имеет ли слово суффиксы *-ованн-*, *-еванн-*
↓ ↓
да нет
↓ ↓
-нн- *-н-*
Исключения:
невиданный, неслыханный, неожиданный, негаданный, неожиданный, нечаянный, желанный, священник, (с)читанный, медленный, штукатуренный, обещанный

вопрос *что сделать?* и относятся к глаголам совершенного вида, а *вязать, варить, пугать* отвечают на вопрос *что делать?* и относятся к глаголам несовершенного вида.

Запомним: в образованиях от глаголов совершенного вида пишется *-нн-*, а от глаголов несовершенного — *-н-*.

Правда, так бывает не всегда. Например, в словосочетании *паханное осенью поле* причастие *паханное* пишется с двумя *н*, хотя слово образовано от глагола несовершенного вида *пахать*. Почему? Нетрудно догадаться: секрет *-нн-* здесь в том, что есть зависимое слово *осенью*.

Следующее слово в приведенном ряду отглагольных образований — *балованный*; оно тоже образовано от глаголов несовершенного вида *баловать*. Откуда здесь *нн*? Столько же *н* и в словах *оперированный, пломбированный, ненадеванный* и т. п. Эти примеры объединяет то, что они оканчиваются на *-ованный* или *-еванный*, то есть имеют суффиксы *-ова-, -ева-* и *-нн-*. А вот в прилагательных *кованый* и *жеваный* таких суффиксов нет, поэтому и пишется одно *н*.

Отглагольные образования от двувидовых глаголов типа *ранить* рассматриваются так же, как образования от глаголов несовершенного вида: *раненый боец — раненный в руку боец* (Исключения: *казенный, рожденный* — всегда с *-нн-*).

Итак, важно научиться определять вид глагола, от которого образовано слово, и секрет *-н — нн-* в отглагольных образованиях будет раскрыт. Но это не всегда легко сделать. Действительно, почему слово *обиженный* образовано от глагола *обидеть*, а не от глагола *обижать, осмеянный* от *осмеять*, а не от *осмеивать*?

В этом случае нам помогут следующие правила: гласный *а* встречается в суффиксе отглагольного образования тогда, когда он есть и в неопределенной форме, то есть если глагол в неопределенной форме оканчивается на *-ать*, то в суффиксе отглагольного образования — *-ан(н)-*; *а*, имеющийся в слове *обижать*, отсутствует в суффиксе отглагольного образования, поэтому *обиженный* от *обидеть*, а не от *обижать* (исключение: *выровнять — выровненный*).

Суффикс *-ива-* в глаголе *осмеивать* должен был бы сохраниться и в отглагольном образовании, но в слове *осмеянный* его нет. Значит, *осмеянный* образовано от *осмеять*, а не от *осмеивать*.

К сожалению, без исключений не обойтись: в трех отглагольных образованиях от глаголов совершенного вида пишется одно *-н-* в таких словосочетаниях: *названный брат (сестра), посаженный отец (мать), конченный человек*. А в образованиях от глаголов несовершенного вида при отсутствии зависимых слов и суффик-

сов *-ованн-* и *-еванн-* пишется *-нн-*: *нежданный, негаданный, нечаянный* и др.

Теперь мы можем закончить составление инструкции, добавив к ней правую часть, касающуюся отглагольных образований.

Приведем пример рассуждения с использованием записанной инструкции.

«Ночь, как башня черная, встает, серебряным увенчанная кругом» (В. Шефнер).

Серебряная — отыменное образование от слова *серебро*, основы па *н*, к которой присоединяется суффикс *-н-*, — нет, в слове имеется суффикс *-ян-*, в состав исключений не входит, следовательно, пишем *-н-*.

Увенчанная — отглагольное образование от глагола совершенного вида *увенчать*, следовательно, пишем *-нн-*.

«С первого взгляда Ганна догадалась, зачем пришли незваные гости» (И. Мележ).

Незваные — отглагольное образование от глагола несовершенного вида *звать*, зависимых слов нет, суффиксов *-ованн-*, *еванн-* — нет, в исключения не входит, следовательно, *-н-*.

Теперь остается потренироваться в применении «инструкции» на практике, ибо в основе всякого знания лежит труд и опыт.

Харьков

С поклоном к традициям предков



Когда нет одного неопровержимого доказательства, его не заменят и десять косвенных.

Это азбучная истина. Поэтому меня даже удивило, что доктор филологических наук Г. П. Смолицкая привлекла столь обширную систему объяснений легко читаемого топонима *Поклонная гора* (Русская речь. 1987. № 4). Тут нам научно объясняют и что такое *гора*, и что такое *поклон*... Не без интереса, конечно, читаются извлеченные из толщи веков все значения слова *поклон* и его производных. Каждый любитель русской речи с наслаждением ознакомится с выдержками из старинных текстов. Но, даже ублажив таким образом словесного гурмана, автор несколько не убедил его в том, что «Поклонные горы... служили местом, где совершались поклоны как приветствия (выделено мною.— С. К.). Здесь с поклоном встречали знатных людей, прибывающих в город — князей из других княжеств, послов иностранных государств, путешественников».

Надо же такое — и путешественников! У меня нет научного аппарата, сошлюсь на сообщение автора статьи, что «Поклонные горы были и в других русских городах...» И ... приведу рассказ моей бабушки — Екатерины Васильевны, в девичестве Иконниковой, дочери сельского дьячка из-под Скопина. Она была очень набожной и несколько раз «ходила на богомолье» в Киево-Печерскую лавру. Ходила из Донбасса, из Юзовки, где она проживала с 1908 или 1909 года — после смерти мужа. Ходила только пешком — около восьмисот километров в один конец. И очень любила об этом рассказывать (более полувека она вдовствовала, так что других радостей у нее было немного):

«...недели три идешь. И обносишься уже, и наголодаешься, и пыли наешься. И вот Дарница, и таких, как ты, уже много. (На одного-двух попугачиков уже за Лубнами, а то и за Полтавой набредешь.) А последние версты тебя само сердчишко подгопяет. Торбищи.. И как откроется Киев, как заблестят маковки Лавры и Михайловского Златоверхого собора, то люди почти бегут, осеняя себя крестным знаменем. И ты бежишь, и падаешь на колени. И начинаешь бить поклоны. Осенишь себя крестным знаменем — и лбом в землю. Осенишь — и поклопишься. И так — до изнеможения. И такая благодать! „Господи,— шепчешь,— спасибо, что сподобил...“»

Еще она рассказывала, что богатые люди, которые приезжали в экипажах на богомолье, в виду Лавры уже не смели ехать, шли последние километры пешком, а случались и такие грешники (или наоборот — праведники?), которые последний отрезок пути, пять—семь километров, шли на коленках. Но это уже к нашему разговору не имеет отношения.

Вот и вся отгадка Поклонных гор. С них открывались кресты на куполах церквей, а набожный человек, даже в городе, проходя мимо церкви, с поклоном крестится. Что уж говорить, если шел он издалека, и на каком-то очередном подъеме открылась вдруг перед ним панорама с монастырем или церковью... Недало же у нас Поклонные горы не только в столицах, а поклонных низин, падей, долин и прочего нет.

Г. П. Смолицкая была «совсем рядом», упомянув между прочим, что с Поклонной открывалась панорама города, «и люди как бы кланялись ему, здесь происходило первое знакомство с городом».

Тут было уже «совсем тепло», но, продолжая и далее перебирать догадки, она вспомнила Наполеона, стоявшего на Поклонной горе, «куда Москва пришла бы с „повинной головой“, то есть с поклоном». Тут следовало бы почувствовать смысловое различие, даже некое смысловое противопоставление поклону уважения, боготворения — униженному склонению «повинной головы».

*С. Калиничев,
писатель
Киев*

Почему говорят: завтрак, обед, ужин?



Завтрак, обед, ужин — слова в русском языке из числа самых древних. В «Слове о полку Игореве» (конец XII в.) они употребляются все вместе в одном контексте: «(Игорь князь) ... полеть соколомъ под мъглами, избивая гуси и лебеди завтраку, и обѣду и ужинѣ». Знали их и другие славянские языки.

Завтрак. Это слово появляется еще в Лаврентьевской летописи, в записи под 1148 годом. Образовано оно от *завтра*, кото-

рое в свою очередь, восходит к сочетанию префикса *za- и слова *jutro «утро»; то есть *завтрак* — «еда, употребляемая утром». Дело в том, что *завтра* ранее значило не только «завтрашний день», но и «утро». Для сравнения: древнерусское *заутро* тоже значило «утро».

Может возникнуть вопрос — куда исчез звук *j* в слове *утро*? Дело в том, что в древнерусском языке начальному праславянскому *ju- соответствовало *y-* — таковы фонетические закономерности восточнославянских языков.

Интересно, что на Орловщине до сих пор можно услышать выражение *солнце на завтраках* — об утренних часах, в которые обычно завтракают.

Обед. Встречается уже в древнеримских и церковнославянских текстах XI века. Ближайшие «родственники» — глагол *есть*, существительное *еда*. Образовано слово с помощью префикса *ob- от корня *éd-. В. И. Даль объясняет: *обед* — «обеденный стол, пища, блюда́, выть и все, что к тому идет: посуда, убранство, питья и пр.; пора, время, когда обедают». Он также замечает: «...у крестьян обедом зовут иногда полную еду, стол, вариво» — и приводит бурлацкую поговорку: «Тюреванье, ломтеванье не в счет, а три обеда исполнить», то есть «трижды в день горячего поесть». Но и это не все. В. И. Даль у слова *обед* дает и другие значения: «полдень, полдни; юг, сторона, где у нас солнце стоит в полдни». В русских говорах есть выражения: *солнце в обѣд*, *в обѣдах*, *в обѣды* — о положении солнца в 12 часов дня, *солнце с обѣд* — положение солнца после полудня.

В старорусском языке слово *обед*, кроме всего прочего, имело значение «пища, приготовленная для еды, угощения» (пословица «Без обѣда не красна беседа» записана в XVII веке).

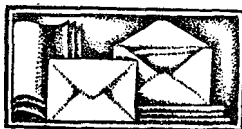
А вот в центральночерноземных областях России *обедом* называли даже марево, мираж. Русский писатель А. И. Эртель так описывает это явление: «За Битюком леса синеются, а за лесами в жаркий день, словно волны какие, *обеды* по степям бегут». Это связано с жарой летнего дня, когда знойный воздух поднимается с поверхности земли, а его колебания создают волны миража» (Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. М., 1984).

Ужин. Как и *обед*, имеет связь со словом *юг* как со стороной света. У слова *обед* связь эта семантическая, а *ужин* непосредственно образовано от праславянского *jugъ «юг» (праславянскому *ju, как и в слове *утро*, соответствует *y-*). Первоначально оно имело значение «еда в полдень» (сравните древнерусское *ужина* «полдвик»). В русских говорах В. И. Далем было записано и сло-

во *пáужин* — «перекуса промеж обеда и ужина, напр., за чаем». В архангельских говорах *пáужник* — «юго-запад, где солнце стоит, когда паужинают; ветер оттуда».

Т. В. Горячева

Кто такие интергельповцы?



«В книге „Они выбрали СССР“, изданной Политиздатом в 1987 году, с большим интересом прочла главу о коммуне „Интергельпо“. Но мне бы хотелось знать, что все-таки означает это слово?»

Г. В. Щербина, пос. Мостовой, Амурская обл.

Сначала немного истории. В 1923 году группа чехословацких рабочих приехала в Советский Союз жить и работать в Киргизии. Был создан пролетарский кооператив (позже — коммуна).

С тех пор слова *интергельповцы*, *интергельповский* стали привычными в республике. В столице Фрунзе появилась улица *Интергельповская*. Слова эти созданы по типичным моделям русского словообразования от названия коммуны «*Интергельпо*». А откуда взялось оно? Этот вопрос действительно заслуживает внимания. В сборнике «Они выбрали СССР» в статье о чехословацкой коммуне есть объяснение, расширенный перевод слова «*Интергельпо*» — «Международная рабочая помощь». Но — с какого языка? У читателя невольно возникает впечатление, что *интергельпо* — чешское слово. Вовсе нет.

Перед нами редкий случай создания русских слов путем суффиксации от заимствования из искусственного языка эсперанто: *interhelpo* — *взаимопомощь* (эсперантские корни *inter* *между* и *help* *помощь* заимствованы из латинского и английского языков).

Дело в том, что чешские инициаторы создания кооператива были эсперантистами. В тот период в европейских странах возникало много пролетарских организаций эсперантистов — они выступали за интернациональное единство пролетариата, против буржуазной реакции, против фашизма. Именно тогда прозвучали слова Анри Барбюса: «Интернационалисты, будьте логичны до конца не только в мыслях ваших, но и в ваших поступках, изучайте эсперанто!»

Трудно сказать, какое место в жизни кооператива, а затем коммуны «*Интергельпо*» занимал международный язык. Судя по

протоколам заседаний коммунаров, хранящимся ныне в Центральном республиканском архиве Киргизской ССР, реальным языком общения коммунаров (а к 1940 году в коммуне трудились люди девятнадцати национальностей) — стал все же русский язык.

Тем не менее история коммуны, оставившая след в микротопонимии города Фрунзе и в лексике русского языка, представляет несомненный интерес для лингвистов, которые занимаются проблемами многоязычия и межнационального общения — проблемами интерлингвистики.

*В. А. Корнилов,
кандидат филологических наук,
Донецк*

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Д. С. Лихачев в заметке «Письмо в редакцию» (Сов. культура, № 108, 1987 г.) пишет: «Я не призывал писателей... „морить себя в монастыре траппистов...“. В Атеистическом словаре о траппистах — ни слова. Что же оно означает?»

В. А. Мальцев, *Тайшет*

Трапписты — члены монашеского ордена, образованного во Франции в 1636 году. Основателем ордена был де Рансе, аббат монастыря Ла-Трапи в департаменте Орн близ Мортани. Для своих последователей де Рансе ввел строгий устав, требующий от братии полнейшего самоотречения.

Трапписты обязаны были 11 часов в сутки проводить в молитве, а остальное время посвящать тяжелым полевым работам. Вечером они должны были несколько минут работать над сооружением для себя могилы, а спать в гробу на соломе. Помимо молитвы и песнопений они обязаны были хранить глубокое молчание. Их пища состояла из овощей, плодов и воды. Одеты они были в рясу с калюшоном, подпоясанную веревкой, и деревянные башмаки.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ**ПОДПИСКА**

**на научно-популярный журнал Академии наук СССР
«РУССКАЯ РЕЧЬ»**

**принимается всеми отделениями связи
и агентствами Союзпечати**

Цена одного номера — 50 коп.

Годовая подписка — 3 руб.

Индекс Союзпечати 70788

На вопросы читателей в этом номере журнала отвечали: научный сотрудник Института русского языка АН СССР Т. В. Горячева, научный сотрудник Института русского языка им. А. С. Пушкина Т. И. Тагунова

Этот номер журнала оформили художники: Е. Барина, Н. Беланов, С. Гаврилова, О. Дмитриева, Б. Захаров, В. Леонов, В. Мирошкин.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. С. ВАЛГИНА, И. Ф. ВОЛКОВ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. А. ГОРШКОВ, П. Н. ДЕНИСОВ, И. Г. ДОБРОДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

Заведующая редакцией
Т. С. Колмакова

Художественный редактор
Е. Н. Сапожникова

Корректоры
В. В. Беляев, М. В. Рыбина

Сдано в набор 18.04.88

Подписано к печати 02.06.88

Формат бумаги 84×108/32.

Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4.

Усл. кр.-отт. 418,6 тыс. Уч.-изд.

л. 9,9. Бум. л. 2,5. Тираж 48.625.

Заказ 1488

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука».

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25

2-я типография изд-ва «Наука»,

121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6